

АКАДЕМИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК РСФСР  
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ

Л.С. ВYGOTСКИЙ

РАЗВИТИЕ  
ВЫСШИХ  
ПСИХИЧЕСКИХ  
ФУНКЦИЙ

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ТРУДОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК  
МОСКВА 1960

Печатается по решению Ученого совета  
Института психологии АПН РСФСР

Под редакцией

А. Н. ЛЕОНТЬЕВА, А. Р. ЛУРИЯ, Б. М. ТЕПЛОВА

*Лев Семенович Выготский*

## РАЗВИТИЕ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

Редактор А. М. Матюшкин

Оформление Л. И. Ламма

Худож. ред. Т. И. Добровольнова Техн. ред. В. В. Новоселова

Корректоры Р. Д. Рыжова, Т. Э. Волкова

---

Сдано в набор 9/VII 1960 г.

Подписано к печати 16/XI 1960 г.

Формат 60×92/16

Бум. л. 15,5

Печ. л. 31,25

Уч.-изд. л. 26,59

A08993

Тираж 2300 экз.

Зак. 382

---

Издательство АПН РСФСР, Москва, Пофдинская ул., д. 8.  
Типография изд-ва АПН РСФСР, Москва, Лобковский пер. 5/16.  
Цена 10 руб., с 1/I 1961 г. цена 1 руб

## ПРЕДИСЛОВИЕ

### 1

В настоящем томе публикуются труды видного советского психолога Л. С. Выготского (1896—1934), до сих пор еще никогда не появлявшиеся в печати («История развития высших психических функций», «Лекции по психологии», «Поведение животных и человека» и ряд докладов). В центре этой книги стоит разработанная Л. С. Выготским теория развития высших психических функций, которая иногда обозначалась как «теория культурного развития». Это была первая у нас систематическая попытка перестроить психологию на основе исторического подхода к психике человека.

Как известно, теория культурного развития Л. С. Выготского подвергалась довольно резкой критике на страницах психологической печати. Во многом эта критика была справедливой. Вместе с тем некоторые принципиальные обвинения, которые выдвигались в отношении этой теории, нередко сами исходили из неправильных научных позиций; иногда же их источник лежал просто в неоправданной ассоциации терминов, употреблявшихся Л. С. Выготским. Так, например, обстояло дело с термином «культурно-историческое развитие», который ассоциировался с идеалистической так называемой «культурпсихологией» немецких авторов.

В действительности положение о культурно-историческом развитии психических процессов человека с самого начала было выдвинуто Л. С. Выготским как противопологающееся, с одной стороны, биологизаторским взглядам на развитие, а с другой — взглядам на развитие культуры как на процесс, независимый от реальной истории общества, внутренне обусловленный, имманентный. Весь смысл своей психологической концепции Л. С. Выготский видел как раз в борьбе, с одной стороны, против линии, биологизирующей психику человека, а с другой — против линии мнимо исторической, линии «отрешения от всего материального» — линии идеализма. Имея в виду немецкую «понимающую» психологию Шпрангера, Л. С. Выготский писал: «Она асоциальна и хотя много говорит об истории, не хочет знать той простой истины, что историческое развитие есть

развитие человеческого общества, а не чистого человеческого духа, что дух развивался вместе с развитием общества... Она не столько вводит психологию в исторический контекст, сколько историю объявляет царством духа» (стр. 34). Поэтому, заключает Выготский, «...недостаточно еще формально сблизить психологию и историю, следует еще спросить, какую психологию и какую историю мы сблизжаем» (стр. 35).

Стремясь понять историю материалистически, Л. С. Выготский имел в виду то, что в основе «духовного» развития лежит материальная, практическая деятельность людей и их речевое общение.

В предпринятой им попытке создать новый подход к психике человека Л. С. Выготский исходил одновременно из двух положений. Во-первых, из того положения, что психика есть функция, свойство человека как материального, телесного существа, обладающего определенной физической организацией, мозгом. Во-вторых, из того положения, что психика человека социальна, т. е. что разгадку ее специфических особенностей нужно искать не в биологии человека и не в независимых законах «духа», а в истории человечества, в истории общества.

Первое заставляло его отвергать всякую концепцию, рассматривавшую психику как особое начало, независимое от материальной организации субъекта. Второе требовало преодолеть биологическую точку зрения на психику человека, увидеть в ней продукт не биологической эволюции, а общественно-исторического развития.

Нужно представить себе состояние психологической теории в конце 20-х годов, чтобы понять всю трудность этой задачи. Советская психология в то время делала только первые шаги в конкретизации своих идейных позиций — позиций диалектического материализма, марксизма. Центральное место в ней все еще занимало «реактологическое» направление, выдвигавшееся К. Н. Корниловым, которому приходилось вести борьбу как с прежней откровенно идеалистической психологией, защищавшейся Г. И. Челпановым и другими, так и с не менее откровенно механистической рефлексологией, насаждавшейся главным образом некоторыми представителями бехтеревской школы. Но при этом слабость положительных позиций самой реактологии проявлялась все более. Начертав на своем идейном знамени требование построения психологии на основе марксизма, она, однако, не нашла решения важнейшего вопроса: подхода к раскрытию общественной природы человеческой психики, сознания человека. Этот вопрос решался лишь в самом общем плане. Попытки же конкретизировать в исследовании общественно-исторический подход к психике человека были совершенно беспомощны. Достаточно упомянуть, например, о попытке поставить в качестве центральной темы психологического института на 1927—1928 г. «Исследование особенностей коренного московского пролетария методом измерения скорости и силы реакций, объема памяти» и т. п. Конечно, исследование это не могло быть выполнено и никогда не было реализовано.

Именно в это время Л. С. Выготский впервые выступил со своей психологической программой. Ключ к решению проблемы общественной обусловленности психики человека Выготский видел в применении к психологическим фактам генетического метода, под которым он разумел изучение конкретных психических процессов в их развитии — историческом, онтогенетическом и функциональном. К психологическим явлениям, говорил он, нельзя подходить как к готовым,

неподвижным образованиям; чтобы понять их природу, их нужно изучать в развитии.

Успехи изучения поведения животных с эволюционной точки зрения, с точки зрения законов биологической эволюции свидетельствуют о том, что это — единственно научный путь в данной области знания. Но когда речь идет о поведении *человека*, о его психике, то этот путь не может быть просто продолжен. Ведь при переходе к человеку, к человеческому обществу законы биологической эволюции уступают свое место действию других, новых законов — законов общественно-исторического развития. Меняется самый тип жизни, приспособления к природе: у человека на первый план выступает не усовершенствование его естественных органов, а развитие орудий и способов труда. Здесь-то перед психологом и возникает тот трудный вопрос, который Л. С. Выготский называл даже вопросом «роковым»: если прогресс в развитии поведения, психики животных объясняется усложнением структуры и функций их нервной системы, т. е. в конечном счете действием законов биологической эволюции, то чем, в отличие от этого, должно быть объяснено развитие специфических особенностей человеческой психики? Л. С. Выготский формулировал этот вопрос так: «Мы говорим обычно, что у человека в силу особенностей его приспособления (употребление орудий, трудовая деятельность) развитие искусственных органов заступает место развития естественных органов, но что заступает место органического развития нервной системы в психическом развитии, что вообще мы имеем в виду, когда мы говорим о развитии высших психических функций без изменения биологического типа?» (стр. 41).

Хотя переход к орудийной, трудовой деятельности составляет поворотный пункт также и в психическом развитии человека, но сами по себе орудия труда, конечно, не принадлежат к миру психического. Значит, необходимо понять, каким образом возникновение и развитие деятельности этого нового типа ведет к перестройке психики. Мысль Л. С. Выготского состояла в том, что вслед за превращением приспособительной деятельности в деятельность трудовую, орудийную, опосредствованную становятся опосредствованными и психические процессы. Чем же опосредствуются эти последние? Очевидно, что не самим по себе орудием. То место, которое в практической трудовой деятельности человека занимает орудие, в его психической деятельности занимают особые явления, возникающие на основе труда, такие, как явления языка, числовые знаки и т. п., т. е. явления *человеческой культуры*.

В процессах восприятия, в запоминании, в мышлении человека эти явления выполняют роль стимулов-знаков; именно их включение в психическую деятельность и меняет принципиальную структуру психических процессов; в этом, собственно, и заключается переход к развитию психики по новому пути, по пути, свойственному исключительно человеку. Обозначая этот путь развития психики как «культурное развитие», Л. С. Выготский имел в виду подчеркнуть этим термином своеобразие процесса психического развития по сравнению с процессом исторического развития во всей его многосторонности.

Идея об опосредствованном характере психической деятельности человека занимает в ранних трудах Л. С. Выготского центральное место. Он придавал этой идее особенно большое значение потому, что она позволяла подойти к решению двух важнейших стоявших

перед ним вопросов. Прежде всего; это был вопрос о принципиальном физиологическом механизме высших психических функций человека. Вопрос этот решался им следующим образом: общие законы физиологической деятельности мозга человека принципиально не изменяются; новое заключается лишь в том, что, кроме обычных условных связей по схеме А (раздражитель) — В (реакция), у человека возникают также связи с промежуточным, вставочным звеном (А—Х—В), в которых роль промежуточного опосредствующего звена (Х) выполняют такие, созданные в процессе исторического развития, раздражители («стимулы-средства»), как мнемотехнические или счетные знаки и, главное, знаки речевые — язык.

В этом пункте своей концепции Л. С. Выготский, хотя он и подходит к вопросу с несколько иной стороны, внятную приближается к цитируемым им мыслям И. П. Павлова, касающимся особой роли у человека второй сигнальной системы, системы, созданной человеком (стр. 110).

Другой важнейший вопрос, решение которого было связано с идеей опосредствованности высших психических функций человека, заключался в формулировании адекватного метода их исследования. Так возникла предложенная Л. С. Выготским «методика двойной стимуляции» («Инструментальный метод», см. стр. 224—234). Суть ее заключается в том, что в процессе исследования испытуемый ставится перед двумя рядами стимулов, один из которых должен быть использован в качестве «стимулов-средств», в качестве знаков. Например, в опытах с памятью испытуемому предлагаются не только слова, которые он должен запомнить, но одновременно с этим и ряд карточек-картинок, которые могут выполнять роль мнемотехнических знаков. Нужно сказать, что применение этой методики действительно оказалось весьма плодотворным: с помощью ее был проведен ряд экспериментальных исследований, сыгравших в развитии психологии, особенно детской, немалую роль; таковы исследования реакций выбора, внимания, памяти и, наконец, известные исследования формирования понятий.

В своих первых, ранних работах Л. С. Выготский ставил идею опосредствованности психических процессов человека не только на первое место, но и придавал ей, несомненно, преувеличенное, универсальное значение. Но именно ее универсальность и составляла ее слабость. Поэтому дальнейшее развитие исследований, естественно, привело к тому, что эта идея оказалась как бы вынесенной за скобки. Она, впрочем, сохраняет свое значение как правильно схватывающая один из существенных признаков психической деятельности, специфической для человека. Выделение этого признака, несомненно, составляет важную заслугу Л. С. Выготского.

Другая большая проблема, которая разрабатывается Л. С. Выготским в публикуемых трудах, — это проблема соотношения созревания и развития в процессе формирования психики ребенка. Она тоже принадлежит к числу наиболее трудных теоретических проблем психологии, до сих пор еще далеко не разработанных.

Подходя к проблеме созревания и развития с позиций своей общей концепции, Л. С. Выготский особо выделяет процесс преобразования психических функций ребенка, происходящий в резуль-

тате овладения им приемами поведения, созданными в ходе исторического развития. Так прежде непосредственная, «натуральная» память, обусловленная биологически, превращается в память опосредствованную, которая развивается далее в собственно логическую память, а «натуральное» произвольное внимание — в опосредствованное, произвольное и т. д. Исходя из этого, Л. С. Выготский различает, с одной стороны, развитие «натуральных» форм психических функций, которое более непосредственно связано с созреванием, а с другой — развитие их «культурных» форм, которое происходит под влиянием овладения ребенком выработанными исторически средствами и способами поведения, составляющими элементы человеческой культуры.

Л. С. Выготский стремился к тому, чтобы возможно более отчетливо выделить этот второй путь развития и показать его несводимость к развертыванию функций, заложенных в организации мозга, в ходе его созревания. С этой целью он обращается не только к экспериментальному изучению развития у ребенка высших психических функций, но широко использует также этнографические данные и данные патологии развития.

Многие страницы в его работах, посвященных этой проблеме, содержат в себе мысли, сохранившие свое значение и для современной психологии. Такова, например, его несомненно интересная, в некотором отношении даже блестящая, трактовка проблемы произвольности поведения. Вместе с тем его стремление показать возможно более резко несводимость процессов формирования высших психических функций человека к процессу развития их элементарных форм приводит его к ложному, по существу, разделению их и в генетическом плане, и в плане их сосуществования на высших уровнях развития. Так, например, развитие памяти представляется им как проходящее два этапа: этап чисто натуральной памяти, заканчивающийся в дошкольном возрасте, и последующий этап развития высшего, опосредствованного запоминания. Так же трактуется и развитие между сосуществующими формами памяти, одни из которых стоят в зависимости исключительно от биологических основ, другие являются продуктом развития ребенка в обществе, его культурного развития. Это противопоставление, которое фактически имело место в работах Л. С. Выготского и в исследованиях его сотрудников, в свое время справедливо отмечалось критикой. Оно действительно несостоятельно: ведь и у детей самого раннего возраста психические процессы формируются под влиянием речевого общения с окружающими взрослыми людьми и, следовательно, не являются «натуральными». Так, у ребенка раннего возраста процессы запоминания не являются «натуральными» уже потому, что они изменяются в результате усвоения им языка. То же и в отношении случаев сохранения резко выраженной «натуральной» памяти эйдетического типа, которая равным образом оказывается у человека трансформированной.

Указывая на несостоятельность сложившегося в работах Л. С. Выготского противопоставления натуральных (органических) и высших («культурных») форм психических процессов, мы вместе с тем должны подчеркнуть, что это противопоставление отнюдь не вытекало из его общеметодологических позиций. Напротив, излагая свои теоретические взгляды, он настойчиво развивал ту мысль, что обе эти формы мы можем выделять только путем абстракции. «Оба

плана развития — естественный и культурный — совпадают и сливаются один с другим... Поскольку органическое развитие совершается в культурной среде, постольку оно превращается в исторически обусловленный биологический процесс» (стр. 47). И далее Л. С. Выготский писал: «...Система активности ребенка определяется на каждой данной ступени и степени его органического развития, и степенью его овладения орудиями. Две различные системы развиваются совместно, образуя, в сущности, третью систему, новую систему особого рода» (стр. 50). «Мы поэтому строго различаем, но не отделяем резко в нашем рассмотрении один процесс от другого» (стр. 51—52).

### 3

Последняя из психологических проблем, подробно разрабатываемая в трудах Л. С. Выготского, вошедших в настоящий сборник, на который мы остановимся, — это проблема общей структуры психики человека, проблема «системного строения сознания». Л. С. Выготский ясно понимал всю ограниченность того механического расчленения всей психической деятельности человека на отдельные психические функции, которое сложилось в буржуазной, метафизической по способу своего мышления, психологии. Критикуя сведение психики человека к совокупности элементов-представлений, Л. С. Выготский в то же время стремился преодолеть и ее сведение к совокупности «функций». Он считал, что развиваемые им взгляды на системное развитие психики открывают эту возможность. Его мысль состояла в том, что подобно тому, как с физиологической стороны переход к опосредствованным процессам создает новую системную организацию деятельности мозга, сохраняя вместе с тем ее общую физиологическую основу, подобно этому меняются и психологические функции: элементарные функции вступают в соотношение друг с другом и, как бы сплавляясь между собой, образуют новые высшие целостные системы. Так, восприятие образует сплав с памятью, память на уровне логического запоминания образует сплав с мышлением и т. д. В результате этого процесса и возникает единая система психических функций, составляющая единство психической жизни личности, единство ее сознания.

Общим механизмом для всех высших психических функций является механизм образования связей между процессами по описанной схеме А—Х—В. На этой основе и происходит их объединение в единую систему. Но ссылка на этот механизм еще, конечно, не объясняет, в силу чего возникают соответствующие связи, образующие объединение функций в определенные системы. Чтобы понять это, нужно обратиться к тем внешним условиям, которые определяют их формирование. Эти условия коренятся в тех отношениях, в которые при этом вступает человек к другим людям. Иначе говоря, то, что становится строением индивидуального сознания, выступает прежде как явление, порожаемое социальным общением, социальными отношениями. Так, например, первоначально слово выступает в своей социальной функции как способ общения, способ воздействия на поведение других людей; именно поэтому оно способно приобрести также и функцию регулирования своего собственного поведения, организации и связывания психических процессов. Поэтому, по мнению Л. С. Выготского, «все высшие психические функ-



ции — суть интериоризованные отношения социального порядка, основа социальной структуры личности» (стр. 198).

Конечно, идеи Л. С. Выготского о системном строении сознания представляются сейчас слишком схематичными и даже наивными, однако в свое время они представляли определенный шаг вперед не только в том отношении, что они настойчиво выдвигали задачу проникновения в социальную детерминированность психики человека, но также и потому, что они позволяли выделить некоторые новые ступени в фактических знаниях о психике человека и о ее онтогенетическом развитии. Именно в этом заключается, в частности, значение публикуемых ниже «Лекций по психологии».

#### 4

Теоретическая мысль Л. С. Выготского далеко опережала конкретные исследования. Поэтому собственный материал, которым он располагал, был крайне недостаточен. Вместе с тем он остро осознавал необходимость опираться на конкретные данные, на «воздух фактов» по известному образному выражению И. П. Павлова. Этого «воздуха» явно не хватало; создался своеобразный вакуум, который и вел к вбранию в подготавливавшиеся работы самого различного по своим источникам материала, часто без должного критического отношения к этим источникам. Это совершенно необходимо иметь в виду при чтении работ Л. С. Выготского. Используемый в них материал нередко берется даже у таких авторов, как, например, Иенш, которые по своим взглядам представляли глубоко чуждые и даже враждебные советской психологии направления. Нужно вообще сказать, что критическое содержание работ Л. С. Выготского вызывает к себе очень двойственное отношение. Оно неудовлетворительно в том смысле, что Л. С. Выготский не доводит своей критики до конца, часто не вскрывает реакционной сущности тех теорий в целом, отдельные стороны которых он анализирует. Вместе с тем критические страницы, написанные Выготским, содержат в себе много очень верных и глубоких мыслей. Огромная психологическая эрудиция позволяла ему дать такой анализ кризиса буржуазной психологии, который с железной логикой показывает невозможность для нее выйти из этого кризиса, не отказавшись от самих основ ее. «Самый фундамент психологии должен быть перестроен» — таков был общий вывод, которым кончается последняя страница последней публикуемой в настоящем издании рукописи.

\* \*  
\*

Труды Л. С. Выготского, которые читатель найдет в этой книге, созданы им в необычайно короткий срок. Он начал систематически работать в области психологии только с 1924 г. Уже через три года он выдвигает свою концепцию, первое подробное изложение которой относится к 1930—1931 г. («История развития высших психических функций»). Еще три года исследований — и смерть навсегда прервала его работу. Всего шесть-семь лет труда — нужно ли говорить о том, что для сколько-нибудь полного осуществления широкого научного замысла — это срок ничтожно малый. Сам Л. С. Выготский ясно сознавал это, ясно сознавал, что он только в самом начале пути.

Говоря о сделанном им, он писал: «...Схема, полученная нами в процессе исследования, конечно, не может считаться верно отображающей реальный процесс развития... было бы величайшей ошибкой рассматривать это схематическое изображение... как нечто большее, чем только схему».

Это положение вполне понятно, если знать ту скромность, которая была присуща автору, и если учитывать, что выполнение планов дальнейших исследований, которые он видел с такой ясностью, он успел только начать при своей жизни. Однако внимательное изучение тех материалов, которые опубликованы в этой книге и которые во многом продолжают оставаться актуальными и сейчас — через четверть века после его смерти, — позволяет видеть, как много внес в нашу науку этот выдающийся исследователь.

*Редакторы*

## ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ И РАСПАДА ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ<sup>1</sup>

Проблема высших психических функций является центральной проблемой всей психологии человека. В современной психологии еще недостаточно выделены даже основные теоретические принципы, на которых должна быть построена психология человека как система, и разработка проблемы высших психических функций должна иметь центральное значение для решения этой задачи.

В современной зарубежной психологии существуют два основных принципа, с точки зрения которых разрабатывается психология человека.

Первый принцип — это принцип натуралистический, т. е. такой, который рассматривает психологию человека и его высшие психические процессы на тех же принципиальных основаниях, на которых строится учение о поведении животных. Таковым является, например, структурный принцип, который исходит из мысли, что в психологии человека не заключается ничего принципиально нового, что отличало бы ее коренным образом от психологии животного. Весь пафос структурной теории заключается в ее универсальности и всеобщей приложимости. Как известно, сами структуралисты утверждают, что структура есть изначальная форма всей жизни. Фоль-

---

<sup>1</sup> Доклад, прочитанный на конференции Всесоюзного института экспериментальной медицины 28 апреля 1934 г.

кельт в своих экспериментах стремится доказать, что восприятие паука подчиняется тем же структурным законам, что и восприятие человека. Такие же структурные законы получались при исследовании структуры поведения человекоподобных обезьян. Все явления — от реакций паука до человеческого восприятия — оказались охваченными таким единым принципом.

Эта всеобщность структурной теории отвечает тенденции всей современной натуралистической психологии, о которой несколько иронически, но правильно выразился Торндайк, указавший, что идеал научной психологии — создать единую линию развития от дождевого червя до американского студента. Этому идеалу отвечает структурный принцип. Поскольку речь идет о такой общей закономерности, дождевой червь и американский студент обнаруживают структурные закономерности в полной мере. Правда, внутри этих общих структурных закономерностей в ходе эксперимента и клинического исследования приходится различать структуры «хорошие» (как их обозначают представители этой психологии) и структуры «плохие», структуры «сильные» и структуры «слабые», структуры дифференцированные и структуры недифференцированные. Но все это — отличия количественные, принципиально же оказывается, что структурные принципы одинаково приложимы как к высшим, так и к низшим структурам, как к человеку, так и к животному.

Несостоятельность этого принципа сказалась в области и генетической и клинической психологии, по отношению к развитию и распаду психических функций. Основатели гештальт-психологии — Кёлер и Вертгаймер связывали огромные надежды со структурным принципом. Соответственно этому принципу исследования, как уже было сказано, проводились на домашней курице и на обезьяне. Но оказалось, что с точки зрения сравнительной психологии эти исследования не имеют никаких перспектив, потому что на курице Кёлер получил то же, что и на обезьяне. В смысле общих структурных принципов различий между домашней курицей и обезьяной он установить не мог. Когда при Кёлере в Париже был поставлен вопрос относительно человеческого восприятия, то он ответил данными, собранными на животном материале. Изложив все основные закономерности, которые были вскрыты на животных — на обезьяне и курице, — он

сказал, что этим законам подчинено и человеческое восприятие. Конечно, это его слабое место. Больше того, он не мог отделаться от того впечатления, что животное в гораздо большей степени подчиняется законам структуры сенсорного поля, чем человек, у которого эти законы определяют его сенсорные процессы в меньшей степени. Животное находится в резкой зависимости от объективных данных, от освещения, расположения вещей и т. д., от относительной силы раздражителя, входящего в состав этой ситуации, проявляя здесь подчинение законам структуры больше, чем человек.

Аналогичные факты получились при попытке приложить структурный принцип к явлениям детского развития. Чем ниже спускался исследователь, тем больше получалось данных, что структурное строение психических процессов у ребенка имеет ту же форму, как и у взрослого человека. Попытку приложить структурный принцип к объяснению развития сделал К. Коффка. Он указал, что развитие структур является «сильным» и «слабым», «хорошим» и «плохим», дифференцированным и недифференцированным, но что все развитие альфой и омегой имеет структурность, как таковую. Такая постановка проблемы развития в области сравнительной и детской психологии оказалась с точки зрения структурного принципа чрезвычайно малопродуктивной. Все высшие формы человеческого восприятия потеряли свою специфичность.

Я укажу, с какими трудностями приходится встречаться структурной психологии, когда дело касается клинических дисциплин. Я сошлюсь на работы Петцля, посвященные агнозии, в которой он устанавливает тонкое различие между нижней зрительной сферой и той высшей зрительной сферой, при страдании которой наступает агнозия. Но когда Петцль от описания переходит к анализу, то оказывается, что все сводится к структурированию и из высших функций выступают только две—побуждающая и запрещающая. Они, по выражению Щедрина, могут только «тащить и не пущать» низшие центры, но создавать новое, приносить новые элементы в деятельность высших центров оказываются неспособными.

Я подробно останавливаюсь на этой стороне дела, чтобы показать, что господствующая в современной психологии структурная теория оказывается неадекватной той проблеме, которая составляет основной предмет изу-

чения человека, — проблеме высших психических процессов, ибо ответ, который дает структурная психология, заключается в том, что высшие психические функции сводятся к тем же низшим, только усложненным и обогащенным по сравнению с низшими психическими функциями, а это не решает проблему.

Вторую линию в психологии человека представляла так называемая описательная психология, или психология как наука о духе, которая в противовес натуралистическим принципам, сводящим высшие специфически человеческие образования к закономерностям, присущим низшим образованиям, объявляет высшие психические функции образованиями чисто духовной природы, которые причинному объяснению не подлежат и не нуждаются в генетическом анализе. Эти особенности психической жизни можно понять, но не объяснить. Их можно чувствовать, но нельзя ставить в причинную зависимость от мозговых процессов, процессов эволюции и т. д. Тот тупик, в который приводит эта идеалистическая концепция, ясен без дальнейших пояснений.

Я нарисовал эти группы взглядов схематично, но в основном мне представляется правильной эта картина состояния психологии человека в зарубежной науке нашего времени. Если ее резюмировать, то получится такое впечатление: несмотря на огромный материал, полученный при изучении человека, с теоретической точки зрения психология человека не только не оформилась хотя бы в качестве ростка подлинной науки, но, наоборот, это представляется совершенно исключенным до тех пор, пока психологи будут идти по двум этим основным направлениям: спиритуалистическому, с одной стороны, и натуралистическому — с другой.

Сейчас я хотел бы перейти к содержанию основных положений и фактов, характеризующих развитие и распад высших психических функций. Мне кажется, что наиболее важным для самой постановки этой проблемы является правильное понимание природы высшей психической функции. Можно было бы думать, что, разбирая вопрос о высших психических функциях, нужно начать с того, чтобы дать ясное определение высших психических функций и указать, какие критерии позволяют отделить их от элементарных функций. Но мне представляется, что точное определение не принадлежит к начальному моменту

научного знания. Я думаю, что смогу ограничиться вначале лишь эмпирическим и эвристическим определениями.

Высшие психические функции развились как высшие формы деятельности, которые имеют ряд отличий от элементарных форм соответствующей деятельности. Так можно говорить о произвольном внимании в отличие от непроизвольного внимания, о логической памяти в отличие от механической памяти, об общем представлении в отличие от частных представлений, о творческом воображении в отличие от воспроизводящего воображения, о волевом действии в отличие от действия непроизвольного, о простых аффективных процессах в отличие от сложных форм эмоциональных процессов.

Центральным для выяснения природы высших психических функций, их развития и распада является одно положение, которое становится ясным, если сопоставить сравнительную психологию с психологией человека. В сравнительной психологии было давно введено понятие, которое получило свое развитие в последнее десятилетие, в частности, в работах покойного В. А. Вагнера, — это понятие эволюции по чистым или смешанным линиям. Изучая развитие тех или иных психических функций в животном мире, исследователи стали различать появление новой функции по чистым линиям (появление нового инстинкта, разновидности инстинкта, который оставляет в основном неизменной всю прежде сложившуюся систему функций) и развитие функции по смешанным линиям, когда происходит не столько появление нового, сколько изменяется структура всей прежде сложившейся психологической системы животного. Как показывают исследования из области сравнительной психологии, основным законом эволюции животного мира является закон психического развития по чистым линиям, развитие же по смешанным линиям является, скорее, исключением, чем правилом, и представлено в области животного развития незначительно.

Надо сказать, что недоучет этого закона объясняет целый ряд ошибок, которые допускали психологи, работая с животными, в частности ошибку Кёлера, который допускал проявление человекоподобного интеллекта и применение орудий у обезьян. Он не учел, что если сравнить отдельную операцию у человека и у обезьяны, то

сходство получается большое, но если сравнить всю структуру поведения животного и место, которое она занимает в сознании животного, то, как указывали Коффка, Гельб и другие авторы, которые подвергли критике основные кёлеровские положения (Гильом и Мейерсон), применение орудий у человека и у обезьяны резко отличается друг от друга. Орудие по-настоящему существует для животного только в момент выполнения данной операции; вещь вне определенной ситуации для животного не существует. Наиболее сложные формы его поведения являются результатом развития функций «по чистым линиям».

Для человеческого же сознания и его развития, как показывают исследования человека и его высших психических функций, действительно обратное положение. На первом плане развития высших психических функций стоит не столько развитие каждой психической функции («развитие по чистой линии»), сколько изменение межфункциональных связей, изменение господствующей взаимозависимости психической деятельности ребенка на каждой возрастной ступени.

Нужно понять, что сознание не складывается из суммы развития отдельных функций, а, наоборот, каждая отдельная функция развивается в зависимости от развития сознания как целого. Развитие сознания в целом заключается в изменении соотношения между отдельными частями и видами деятельности, в изменении соотношения между целым и частями. Это изменение функциональных связей и соотношений выступает на первый план и позволяет приблизиться к разрешению основной проблемы.

Я приведу только один пример. Если обратиться к исследованию психических функций ребенка раннего возраста — между годом и тремя, то можно увидеть, что здесь психология наталкивалась на ряд трудностей. Трудно сравнить память ребенка этого возраста, его мышление и внимание с памятью, мышлением и вниманием ребенка более старшего возраста, и эта трудность упирается в тот факт, что мы сталкиваемся с особой системой функциональных соотношений, с особой системой сознания, в которой доминирующей функцией является восприятие, а все остальные функции действуют не иначе, как в результате восприятия и через него. Кто не знает,



что память ребенка этого возраста проявляется главным образом в опознавании, так как ребенок вспоминает только в связи с тем, что воспринимает сейчас. Мышление ребенка этого возраста совершается не иначе, как в акте восприятия. Оно может быть направлено только на то, что сейчас находится в сфере восприятия. Чтобы отвлечь ребенка от восприятия, нам надо будет применить усилие, и сделать это чрезвычайно трудно.

Что же существенно для памяти, для мышления ребенка между годом и тремя? Существенным является не только развитие памяти и мышления, но и тот факт, что все эти функции абсолютно несамостоятельны, недифференцированы и находятся в непосредственной зависимости от восприятия, действуют не иначе, как в системе восприятия. Исследования показывают, что построение высших психических функций есть процесс образования психических систем. Иначе говоря, в ходе детского развития изменяется внутренняя структура сознания в целом, меняются соотношения отдельных функций и отдельных видов деятельности, на основании чего возникают новые динамические системы, интегрирующие целый ряд отдельных видов и элементов психической деятельности ребенка.

Если верно, что в ходе детского развития отношения между функциями меняются, то именно в процессе изменения этих межфункциональных отношений и происходит такая интеграция отдельных элементарных функций, которая приводит к образованию высшей психической функции, становящейся на место низших психических функций. Тут мы имеем дело с различными видами деятельности. Исследования показали, что все высшие психические функции — логическая память, произвольное внимание, мышление — имеют общую психическую основу, так что мы в такой же мере вправе говорить о произвольной памяти, в какой мы говорим о произвольном внимании: мы могли бы с полным правом назвать последнее логическим вниманием, как называем его произвольным. Исследования показали, что существует высокая корреляция между произвольной памятью и произвольным вниманием. Иначе говоря, высшие психические функции коррелируют между собой больше, чем они коррелируют с соответствующими низшими психическими функциями. Все это указывает на некоторую общую природу высших

психических функций, на некоторый общий путь, который они проходят в своем развитии. Специальное изучение развития произвольной памяти, которое было несколько лет тому назад проведено нашими сотрудниками А. Н. Леонтьевым и Л. В. Занковым, и исследования других высших психических функций показали, что этот путь интеграции и есть путь образования определенных психических систем. Во всех этих случаях мы имеем особые функциональные системы, которые не являются прямым продолжением или развитием элементарной функции, а представляют собой целое, в котором элементарные психические функции существуют как одна из инстанций, входящих в состав целого.

\* \*

\*

Центральную роль в построении высших психических функций, как показывают исследования, играет речь и речевое мышление, те несомненно специфические человеческие функции, которые, по-видимому, бесспорно должны быть отнесены к продуктам исторического развития человека.

Что вносит в сознание ребенка первое осмысленное слово? Изучение этого вопроса, мне кажется, очень важно для понимания природы развития высших психических функций. Ассоциативная психология представляла себе, что слово связано со значением, как одна вещь связана с другой вещью; как говорили классики ассоциативной психологии, слово напоминает значение, как пальто знакомого человека напоминает вам хозяина. С точки зрения структурной психологии слова связаны, как одна вещь с другой, но не ассоциативно, а структурно. Иначе говоря, слово есть одна из структур в ряду других, которая, как таковая, не вносит нового *modus operandi* нашего сознания. Между тем данные истории развития речи, анализ функционирования ее в развитом сознании и клинические данные из области патологии речи показывают, что дело обстоит иначе, что вместе со словом в сознание человека вносится новый *modus operandi*, новый способ действия.

В чем заключается это новое? В свое время наши скромные экспериментальные исследования привели к выводу, что с психологической стороны самым существен-

ным для слова является обобщение, тот факт, что всякое значение слова обозначает не единичный предмет, а группу вещей. Изучение ранних форм этих обобщений или детских слов привело к выводу, о котором можно сказать, что он начинает входить в современное учение о речи и мышлении. Этот вывод заключается в том, что значение детских слов развивается, что ребенок в начале развития речи обобщает вещь в слово иначе, чем взрослые. Наши ступени развития значений детских слов показывают различные типы, различные способы обобщений. Вместе с внесением обобщений, мне кажется, вносится и новый принцип в деятельность сознания. Я думаю, что в этом случае психологи всецело опираются на то положение, что диалектическим скачком является не только переход от неживой материи к живой; диалектическим скачком является и переход от ощущения к мышлению. Это значит, что существуют особые законы мышления, что они не исчерпываются теми законами, которые имеются в ощущении. Это значит, что хотя сознание всегда отражает действительность, но оно отражает действительность не одним единственным способом, а по-разному. Этот обобщенный способ отражения действительности есть, я думаю, специфически человеческий способ мышления.

Мне позволяют так думать три группы фактов. Первая группа фактов заключается в следующем. Все знают, что основным для человеческого сознания является его социальный характер. Психическая жизнь не является замкнутой монадой, которая не имеет входа и выхода. Все знают, что непосредственного общения душ быть не может, что общаемся мы с помощью речи, с помощью соответствующих знаков. Однако важно, что общаться можно не только с помощью знаков, но и с помощью обобщенных знаков. Если знак не обобщен, то он имеет смысл только для меня, имеет смысл только единичного факта. Для примера я возьму факты, на которые указал американский исследователь Эдвард Сэпир. Кто-то должен передать другому, например, что ему холодно. Как это показать? Я могу начать дрожать, вы увидите, что мне холодно. Я могу сделать так, чтобы вам было холодно, и показать этим, что мне холодно. Но для человеческого общения характерно обобщение и передача в словах того или иного состояния. Когда я говорю «холодно», то я

делаю обобщение, связанное с переживанием. Следовательно, вопрос о том, существует ли непосредственная связь между общением и обобщением, заслуживает самого серьезного внимания.

В результате целого ряда исследований в психологии была поставлена проблема (в свое время она была поставлена Пиаже), которая, однако, оставалась теоретически темной, — проблема понимания ребенком ребенка, понимания ребенком взрослого, понимания детьми разных возрастов друг друга. Нам удалось установить, что понимание в смысле глубины и адекватности, в смысле сферы возможного понимания, т. е. процессы обобщения всегда обнаруживают строгое закономерное соответствие уровню развития детского общения. Развитие общения и обобщения идет рука об руку. Это первая группа фактов, которые позволяют думать, что обобщенный способ отражения действительности в сознании, который вносится словом в деятельность мозга, есть другая сторона того факта, что сознание человека есть сознание социальное, сознание, формирующееся в общении.

Другая группа фактов, которая позволяет так думать, относится к области клинических наблюдений.

Если обобщить то, что известно из изучения распада обобщений, из области патологии смысловой стороны речи, то можно сказать, что при этих страданиях мы имеем более или менее общее страдание всех специфических сторон человеческих функций. Все они страдают, когда мы имеем патологические изменения в области обобщений, в области изменения значений слова. Я постараюсь дальше, говоря об исследованиях афазии, указать на конкретные примеры, относящиеся к этой области.

Монаков в одной из своих последних статей обратил внимание на специфические нарушения произвольного внимания, которые обнаруживает афазик, и, указывая проблему, но не разрешая ее, он говорит, почему такая высшая психическая функция, как произвольное внимание, казалось бы не связанная с речью, как таковой, во всех типических случаях афазии оказывается резко нарушенной. Это показывает связь, существующую между распадом обобщений и всей психической деятельностью, сохранностью представлений, сохранностью всех высших психических функций в целом.

Перейду к проблеме распада высших психических функций, которую я сегодня хотел изложить в аспекте проблемы локализации высших психических функций.

Проблема локализации в конечном счете есть проблема структурных единиц в деятельности мозга. Для нее не может остаться безразличной общая концепция, исходя из которой она пытается решать свои основные вопросы. Во время ассоциативной психологии существовало учение, которое локализовало отдельные представления в отдельных центрах. Структурное учение в психологии заставило учение о локализации отказаться от локализации отдельных представлений. Известно, что структурное учение проложило иные пути для решения вопроса об отношении функций к мозгу. Все это говорит о том, что всякое психологическое учение с необходимостью требует своего продвижения в области проблемы локализации и с этой точки зрения данные психологического эксперимента должны быть сопоставлены с данными клиники в широком смысле этого слова.

Современное локализационное учение справилось только с одной задачей, которая стояла перед ним. С помощью структурного принципа оно пыталось преодолеть свои прежние ложные представления. Структурный принцип оказался положительным лишь для преодоления этих дефектов в учении о локализации. Ведь типичные построения современных локализационных учений не идут дальше положения о наличии двух функциональных моментов в работе мозговых центров — так называемых специфических и неспецифических функций мозга. Наиболее четко развил это учение Лешли.

С точки зрения Лешли, каждая область коры обладает специфической функцией, примеры которых он проследил при анализе дифференцированных оптических структур мозговой коры. Но эти же зоны имеют и неспецифические функции. С участием этих зон связано не только формирование зрительных навыков, но и тех навыков, которые никакого отношения к оптическим не имеют. Отсюда Лешли делает вывод, что каждому центру присущи две функции: специфическая функция, с одной стороны, и неспецифическая функция, связанная со всей

массой мозга, — с другой стороны. В отношении специфической функции, согласно учению Лешли, каждый центр является незаменимым. При большом его поражении или травме специфическая функция выпадает. Но в отношении неспецифических функций каждый участок коры является эквивалентом другому участку коры.

Учение Гольдштейна о мозговой локализации имеет аналогичные черты, являясь только более тонким по своему содержанию. С точки зрения Гольдштейна, определенный центр мозга, разрушение которого клинически ведет к выпадению или нарушению определенных функций, связан не только с функцией определенного типа, но и с образованием определенного фона для данной функции. Если он пострадал, то это имеет большое значение для мозга не только потому, что этот «центр» связан с известной динамической «фигурой», но и потому, что фон, который является неперенным условием для образования соответствующей «фигуры», нарушен, потому что функции фона также пострадали от того, что пострадал данный центр.

Представление Гольдштейна, что каждый центр обладает специфическими функциями «фигуры» и общей функцией — «фоном», является более тонким взглядом, логически продолжающим взгляды Лешли относительно специфических и неспецифических функций каждого из центров.

Мне кажется, что теоретический анализ этого положения показывает, что учение о двойной функции каждого мозгового центра представляет собой соединение двух старых точек зрения. С одной стороны, мы возвращаемся к учению о специализированных центрах: мы признаем, что структура определенного рода локализована в определенных центрах. С другой же стороны, функции центра оказываются диффузно эквивалентными в том отношении, что динамический «фон», в обеспечении которого данный центр участвует, локализован в мозгу как целом. Таким образом, здесь мы имеем соединение старой локализационной точки зрения с антилокализационной точкой зрения. Но соединить эти теории не значит еще разрешить проблему. Что такое представление приводит в области локализации к положениям, аналогичным положениям генетической психологии, пользующейся только структурным принципом, легко показать на исследова-

ниях самого Гольдштейна и других клиницистов, пользующихся этим принципом. Гольдштейн, изучая амнестическую афазию, находит, что центральным страданием при этом является страдание категориального мышления. Но когда он дальше пытается установить, какой механизм лежит в основе нарушения категориального мышления, он снова приходит к «фигуре» и «фону». Оказывается, категориальное мышление и страдает постольку, поскольку пострадала основная функция мозга — образование «фигуры» и «фона». Но образование «фигуры» и «фона» является общим в отношении всех функций, и Гольдштейну, далее, ничего не остается другого, как возвести этот принцип в ранг общего закона. Гольдштейн защищает точку зрения, близкую той, которую выдвигал Вернике и которая вызвала справедливую критику. Вернике выдвигал ту мысль, что высшие психические функции в отношении связи с мозгом построены так же, как непсихические функции, и этот вывод Вернике, по мнению Гольдштейна, нужно сохранить. Его исходной точкой в учении о локализации является положение, что принцип «фигуры» и «фона» для всякого действия центральной нервной системы одинаков; он одинаково проявляется как при нарушении коленного рефлекса, так и при нарушении категориального мышления. Иначе говоря, этот принцип может характеризовать как элементарные, так и высшие формы деятельности. Создается единая система, согласно которой может быть истолковано и объяснено любое поражение центральной нервной системы: расстройство чувствительности, расстройство двигательных центров, общее снижение сознания, нарушение категориального мышления и т. д. Соотношение «фигуры» и «фона» становится универсальным объясняющим принципом, равно приложимым и к протеканию психических процессов, и к их локализации. Высшие психические функции оказываются не только одинаковыми с элементарными психическими функциями по своему строению, но оказываются одинаковыми и по их локализации в коре головного мозга, в отношении которой они не отличаются даже от непсихических функций.

Мне кажется, что все эти трудности проистекают из отсутствия в современной психологии адекватного психологического анализа высших психических функций. В структурной психологии анализ приводит к общему

принципу структуры, который охватывает как высшие, так и низшие психические функции и оказывается одинаково приложимым к обеим. Этим доказывается, что различного рода нарушения, по существу, одинаковы. Мне представляется, что в силу неадекватного состояния психологического анализа в глубокий тупик заходят даже лучшие исследователи, одни из которых сползают к чистому спиритуализму, другие же — к грубому натурализму. Примеры этого мы встречаем в работах Ван-Веркома, Хэда и других исследователей. Многие из них именно в результате такой ложной позиции начинают повторять положения Бергсона, который относится к мозгу как к средству для проявления духа, и вступают тем самым в резкие противоречия с научным материалистическим подходом к проблеме.

Мне кажется, что в такой же степени, как проблема психического развития упирается в необходимость идти дальше общего структурного принципа, она упирается в недостаточность указания на «целостный» характер психической жизни, одинаково приложимый к пауку и к человеку, и в учении о локализации.

Мне кажется, что те огромные материалы, которыми мы располагаем в области клинического исследования, дают клиницистам и психологам возможность выдвинуть два положения, существенно отличные от основных представлений современного учения о локализации.

С одной стороны, мы глубоко уверены в специфическом характере ряда мозговых структур и в специфическом отношении высших психических функций к ряду систем мозговой коры; этот тезис направлен против учения Лешли и Гольдштейна. С другой стороны, мы не можем согласиться и с тем, что неспецифическая функция каждого центра является эквивалентной для всех участков мозга. Представленная здесь концепция о строении высших психических функций исключает представление о гомогенной эквивалентной организации деятельности нашей коры, при которой только количество массы определяет характер и степень поражения высшего психического процесса. Я лишен возможности осветить здесь эту проблему сколько-нибудь полно и остановлюсь лишь на одной стороне, которую я считаю принципиально важной.

Дело идет о положении, которое сложилось в течение ряда лет при изучении детей с церебральными дефекта-



ми, с одной стороны, и при изучении соответствующих расстройств у взрослых — с другой.

Когда изучаешь ребенка и взрослого с определенными церебральными расстройствами, то бросается в глаза, что страдание от этих дефектов в детском возрасте дает совершенно иную картину, иные последствия, чем страдания, которые возникают при поражении того же участка в зрелом, развитом мозгу.

Возьму самый простой пример из области, с которой я сталкивался в последнее время,— из области агнозии. Как известно, оптическая агнозия у взрослых в чистом виде, например в случаях, описанных Гольдштейном, Петцлем, выражается в том, что определенным образом страдает одна функция — функция узнавания предметов; больной видит, но не знает, какой предмет находится перед его глазами, и принужден лишь угадывать его. Он не видит, пяточок это или часы; иной раз он скажет, что это часы, другой раз — что это пяточок; 40% определений у него правильны, 60% — неправильны. И у ребенка с врожденной агнозией также страдает прежде всего функция определения предметов, ребенок не узнает в разных ситуациях одних и тех же вещей.

Но если мы обратимся к последствиям, какие возникают в том и другом случае, то они будут диаметрально противоположны.

Что происходит у больного агнозией? Присутствующие клиницисты не откажутся подтвердить, что происходит следующее: непосредственно и грубым образом страдает функция предметного восприятия и тем самым страдает функция зрительной сферы. Грубо говоря, при поражении зрительной сферы страдает оптический гнозис, страдает функция оптического восприятия. На этом настаивает Гольдштейн, об этом говорит Петцль, и всякий, кто работал экспериментально с агностиками, может убедиться в правильности того положения, которое было здесь высказано. Но страдают ли здесь высшие понятия? Может ли больной рассуждать о предметах, которые он не узнает? Да, он сохраняет способность такого рассуждения. Клиницисты могут подтвердить, что понятия о предметах у него не нарушены. Я занимался исследованием понятий таких больных о предметах, которые они не узнают, и смог установить, что эти понятия у них оказываются в значительной мере измененными; но поня-

тие сохранено здесь в гораздо большей степени, чем восприятие, и при отсутствии деменции понятие о предметах может даже выступить как основное средство компенсации дефекта. Когда агностики не видят, что это часы, то они прибегают к помощи более сложных механизмов. Они поступают, как следователи: по известным признакам они начинают догадываться и, проделав сложную работу мысли, приходят к тому, что это — часы. Мне достаточно сослаться на работу Гольдштейна, чтобы показать, что больной настолько владел своим восприятием, что узнавал квадрат, обводя глазами все четыре стороны его; такой больной передвигался по Берлину и служил в течение 15 лет, сохранив все возможности практической жизни и передвижения в трамвае и на улице только благодаря тому, что сохранная интерпретация признаков указывала ему, что это за номер трамвая, как нужно пойти, чтобы попасть туда-то. Для взрослых агностиков основным правилом является нарушение работы оптических центров, низших по отношению к нарушенному, и сохранность центров, высших по отношению к нарушенному, которые и берут на себя компенсаторные функции в случаях агнозий.

Надо сказать, что в детских случаях дело обстоит совсем не так. Мы встречаем детей с врожденными афазиями, сенсорными и моторными, но не встречается почему-то детей с врожденными агнозиями. До последнего времени не было таких случаев. А когда мы научились их распознавать, то они стали не так редки. Почему же у детей не распознавалось это заболевание? Потому, что ребенок с врожденной агнозией остается почти всегда идиотом. У него не только страдает зрение, но почти всегда недоразвивается речь, несмотря на то что почти всегда сенсомоторные возможности развития речи остаются сохранными. Если обратить внимание на это, то бросается в глаза следующая закономерность. При страдании одного и того же участка или центра у взрослого больше страдает нижележащий, чем вышележащий центр. В случае агнозии у взрослого мы имеем больше расстройства простого зрения, чем мысленного понятия о предметах. У ребенка же при аналогичном поражении центра высший центр страдает больше, чем низший. Взаимная зависимость отдельных центров оказывается в том и другом случае обратной.

Все это можно объяснить и с теоретической точки зрения. Трудно ожидать иного соотношения по сравнению с тем, что мы наблюдаем. Известен закон о переходе функции вверх. Известно, что в первые месяцы жизни ребенка мы можем наблюдать самостоятельное функционирование тех центров, которые у взрослого функционируют самостоятельно только в патологическом состоянии. Переход функции вверх означает, что устанавливается известная зависимость низшего центра от высшего. У ребенка без развития восприятия не может развиваться речь, потому что в нормальном функционировании восприятия мы имеем предпосылку для того, чтобы нормально развивались высшие системы.

Сошлюсь на один вопрос, которым я всегда интересовался: существует ли центральная врожденная слепота? Центральная глухота существует. Алексия, агнозия существуют. Как можно допустить по теории вероятности, что не было случаев эмбрионального недоразвития оптических центров? В литературе, с которой я ознакомился по этому вопросу, есть только одно указание, что слепые с врожденной центральной слепотой обыкновенно бывают идиотами. Поражение затылочных долей, поражение зрительных центров у взрослого человека дает только «душевную слепоту». Гольдштейн посвящает специальные работы выяснению того, какие последствия имеет поражение затылочных долей у взрослых, и констатирует, что в случаях поражения затылочных и теменных долей высшие функции — мышление и речь — мало затрагиваются. Кто не видел центральной слепоты, как описывают ее, например, Петцль и др., как элементарного страдания, при котором сохраняются высшие психические функции? В этих случаях страдает только низший центр, поражение корковой оптической зоны у взрослого — относительно легкое страдание. Если же мы имеем такое поражение у маленького ребенка, то этот ребенок остается идиотом. Возникает удивительная вещь: ребенок с центральной слепотой окончательно остается идиотом, а взрослый с такой же слепотой почти сохраняет свои высшие функции. Мне кажется, что этот факт объясняется указанными зависимостями. Значит, как показал Гольдштейн, у взрослого специфическое поражение зрительного восприятия сказывается на других функциях, но только в одном определенном отношении, а именно на

образовании симультанных структур. Все остальное остается. Поэтому больной Гольдштейна воспринимает квадрат так, как мы воспринимаем сложную систему чисел.

Представьте теперь ребенка, у которого никаких симультанных структур возникнуть не может. Это будет человек, который не умеет установить пространственные отношения. Такой ребенок по необходимости должен остаться идиотом.

Я мог бы привести еще ряд данных из области других страданий, но в оставшиеся несколько минут я хотел бы сделать выводы из того, что я сказал.

Имеет ли то, что я сейчас изложил, какое-нибудь отношение к учению о двух функциях центров? Мне кажется, имеет непосредственное отношение. Оказывается, что, кроме специфического страдания, которое возникает при поражении центральных зон, возникает еще страдание в отношении неспецифических функций, не непосредственно связанных с этими зонами. Спрашивается, одинаково или нет страдают специфические и неспецифические функции при страдании какого-либо центра? Когда ребенок родился с центральной слепотой, а взрослый лишь приобрел поражение, приведшее к центральной слепоте, специфические функции пострадали одинаково, а неспецифические пострадали совершенно разное. Во всяком случае, в развитии и распаде мы можем иметь обратные явления в отношениях одного центра к другому, обратные отдаленные последствия поражения. Понятно, что этим исключается всякое представление, что центр связан лишь неспецифически с остальными функциями, что поражение определенного центра не дает эквивалентного эффекта в отношении к другим центрам. Мы видим, что оно имеет специфическое отношение к определенным центрам, и это отношение устанавливается в ходе развития, и так как эти отношения устанавливаются в ходе развития, то оказывается, что и страдания, возникающие при поражении соответствующего центра, могут иметь неодинаковый характер. Из этого также ясно, что учение о постоянных специфических функциях каждого центра является несостоятельным. Если бы каждый из центров выполнял определенные функции сам по себе и для каждой высшей психической функции не требовалась бы сложная дифференцированная объединенная деятель-

ность целой системы центров, то при страдании одного центра никогда не могло бы возникнуть такого положения, что остальные центры страдали бы определенным специфическим образом, а всегда было бы так, что при страдании определенных центров все центры страдали бы одинаково.

Несколько оставшихся минут я хочу посвятить очень кратким заключительным словам.

Мне кажется, что проблема локализации, как общее русло, вбирает в себя и то, что связано с изучением развития высших психических функций, и то, что связано с изучением их распада; это позволяет поставить проблему, которая имеет большое значение,— проблему хроногенной локализации. Эта проблема, выдвинутая еще Монаковым, ни в какой степени не может быть решена в отношении высших психических функций так, как это делает Монаков, по той простой причине, что он в последних своих работах становится целиком на точку зрения инстинктивной основы всякой психической деятельности, в том числе и высших психических функций. Для Монакова агнозия есть болезнь инстинкта. Уже по одному этому понятно, что его конкретная интерпретация проблемы высших психических функций не отвечает ни задаче создания системы адекватного анализа пораженной функции, ни проблеме локализации высших психических функций в новых областях мозга. Но само по себе представление, что локализация высших психических функций не может быть понята иначе, как хроногенная, что она есть результат исторического развития, что отношения, которые характерны для отдельных частей мозга, складываются в ходе развития и, сложившись определенным образом, действуют во времени и что это исключает возможность выводить сложный процесс из одного только участка,— эта идея остается правильной. Но, мне кажется, ее нужно дополнить следующим соображением. Имеется много оснований допустить, что человеческий мозг обладает новыми локализационными принципами по сравнению с мозгом животных. Положение, которое выдвигает Лешли, заключающееся в том, что в основном организация психической деятельности крысы аналогична организации высших психических функций человека, является ложным. Нельзя допустить, что возникновение специфически человеческих функций представляет собой

просто появление новых функций в ряду тех, которые существовали еще в дочеловеческом мозгу. Нельзя представить себе, что новые функции в отношении локализации и сложности связи с мозговыми участками имеют такое же построение, такую же организацию целого и части, как, например, функция коленного рефлекса. Поэтому есть все основания думать, что плодотворная сфера для исследования как раз лежит в области тех специфических, очень сложных динамических отношений, которые позволяют составить хотя бы самые грубые представления о действительной сложности и своеобразии высших психических функций. Если здесь мы не можем еще дать окончательного решения, то это не должно нас смущать, потому что проблема эта величайшей сложности. Но тот огромный материал, который мы имеем, целый ряд зависимостей и примеров, которые я привел и которые можно было бы еще и умножить, показывают, в каком направлении следует двигаться. Во всяком случае, мне кажется плодотворным допущение, что человеческий мозг обладает новыми локализационными принципами по сравнению с теми, с которыми мы встречаемся в мозгу животных и которые позволили ему стать органом человеческого сознания — мозгом человека.

## ПСИХОЛОГИЯ И УЧЕНИЕ О ЛОКАЛИЗАЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ<sup>1</sup>

1. Правомерность и плодотворность психологического подхода к проблеме локализации вытекает из того обстоятельства, что господствующие в данную эпоху психологические воззрения всегда оказывали большое влияние на представления о локализации психических функций (ассоциативная психология и атомистическое учение о локализации, структурная психология и тенденция современных ученых к интегративному пониманию локализации). Проблема локализации есть, в сущности, проблема отношения структурных и функциональных единиц в деятельности мозга. Поэтому то или иное представление о том, что локализуется, не может быть безразличным для решения вопроса о характере локализации.

2. Наиболее прогрессивные современные учения о локализации справились с задачей преодоления основных недостатков классического учения, но сами не смогли удовлетворительно разрешить проблему локализации психических функций главным образом благодаря недостаточности применяемого ими структурнопсихологического анализа локализуемых функций. Мощное продви-

---

<sup>1</sup> Тезисы доклада на 1-м Украинском съезде психоневрологов, июнь 1934 г.

жение локализационного учения, сделавшееся возможным благодаря успехам гистологии, цитоархитектоники мозга и клиники, не может осуществить всех заложенных в нем возможностей из-за отсутствия соответствующей по сложности и адекватной по силе системы психологического анализа. В частности, это наиболее резко сказывается в проблеме локализации в отношении специфически человеческих областей мозга. Несовершенство делокализационной точки зрения и недостаточность формулы «мозг, как целое» осознается большинством современных исследователей. Однако применяемый ими обычно функциональный анализ, основанный на принципах структурной психологии, оказался настолько же бессильным вывести учение о локализации за пределы этой формулы, насколько он оказался плодотворным и ценным в решении первой критической части задачи, стоявшей перед новыми теориями (преодоление атомистического учения).

Структурная психология, на которой основываются новейшие теории, по самому своему существу не позволяет пойти дальше признания за каждым мозговым центром двух функций: одной специфической, связанной с одним определенным видом деятельности сознания, и другой неспецифической, связанной с любой другой деятельностью сознания (учение Гольдштейна о «фигуре» и «фоне», учение Лешли о специфической и неспецифической функции зрительной коры). Это учение, по существу, соединяет старое классическое учение о строгом соответствии структурных и функциональных единиц, о специализации отдельных участков для определенных ограниченных функций (учение о специфической функции центров) и новое, делокализационное по своим тенденциям воззрение, отрицающее такое соответствие и такую функциональную специализацию отдельных участков и исходящее из формулы «мозг, как целое» (учение о неспецифической функции центров, в отношении которой все центры являются эквивалентными).

Таким образом, эти учения не поднимаются над обеими крайностями в теории локализации, а механически совмещают их, включая в себя все недостатки старого и нового учения: узколокализационного и антилокализационного. Это с особенной силой сказывается в проблеме локализации высших психических функций, связанных с



специфически человеческими областями мозга (лобные и теменные доли). В этом вопросе исследователи силой фактов вынуждены выйти за пределы понятий структурной психологии и вводить новые психологические понятия (учение о категориальном мышлении Гольдштейна, учение о символической функции Хэда, учение о категоризации восприятий Петцля и др.).

Однако эти вновь вводимые психологические понятия снова сводятся теми же исследователями к основным и элементарным структурным функциям («основная функция мозга» у Гольдштейна, структурирование у Петцля) или превращаются в изначальные метафизические сущности (Хэд). Таким образом, вращаясь в порочном кругу структурной психологии, учение о локализации специфически человеческих функций колеблется между полюсами крайнего натурализма и крайнего спиритуализма.

3. Адекватная с точки зрения учения о локализации система психологического анализа, по нашему убеждению, должна быть основана на исторической теории высших психических функций, в основе которой лежит учение о системном и смысловом строении сознания человека, исходящее из признания первостепенного значения: а) изменчивости межфункциональных связей и отношений, б) образования сложных динамических систем, интегрирующих целый ряд элементарных функций, в) обобщенного отражения действительности в сознании. Все эти три момента представляют с точки зрения защищаемой нами теории самые существенные и основные связанные в единство особенности человеческого сознания и являются выражением того закона, согласно которому диалектическим скачком является не только переход от неодушевленной материи к ощущению, но и переход от ощущения к мышлению. Применяемая нами в течение ряда лет в качестве рабочей гипотезы, эта теория привела нас при исследовании ряда проблем клинической психологии к трем основным положениям, касающимся проблемы локализации. Их можно, в свою очередь, рассматривать как рабочие гипотезы, хорошо объясняющие главные из известных нам клинических фактов, относящихся к проблеме локализации, и позволяющие вести экспериментальные исследования.

4. *Первый* из наших выводов касается вопроса о функции целого и части в деятельности мозга. Анализ афазических, агностических и апраксических расстройств заставляет признать непригодность того разрешения вопроса о функциях целого и части, которое мы находим в учениях Гольдштейна и Лешли. Признание двойной (специфической и неспецифической) функции за каждым центром не в состоянии адекватно объяснить всю сложность получаемых в эксперименте фактов при названных выше расстройствах. Исследование заставляет прийти к обратному в известном смысле решению этого вопроса. Оно показывает, во-первых, что каждая специфическая функция никогда не связана с деятельностью одного какого-нибудь центра, но всегда представляет собой продукт интегральной деятельности строго дифференцированных, иерархически связанных между собой центров. Исследование показывает, во-вторых, что функция мозга как целого, служащая образованию «фона», также не складывается из нерасчлененной однородной в функциональном отношении совокупной деятельности всех прочих центров, а представляет собой также продукт интегральной деятельности расчлененных, дифференцированных и снова иерархически объединенных между собой функций отдельных участков мозга, не участвующих непосредственно в образовании «фигуры». Таким образом, как функция целого, так и функция части в деятельности мозга не представляют собой простой, однородной, нерасчлененной функции, которая выполняется в одном случае гомогенным в функциональном отношении мозгом как целым, а в другом — столь же гомогенным специализированным центром. Мы находим расчленение и единство, интегративную деятельность центров и их функциональную дифференциацию как в функции целого, так и в функции части. Дифференциация и интеграция не только не исключают друг друга, но, скорее, предполагают одна другую и в известном отношении идут параллельно. При этом самым существенным оказывается то обстоятельство, что для разных функций следует предположить и различную структуру межцентральных отношений; во всяком случае, можно считать установленным, что отношения функций целого и функций части бывают существенно иными тогда, когда «фигура» в мозговой деятельности представлена высшими психическими функциями,

а «фон» — низшими, и тогда, когда, наоборот, «фигура» представлена низшими функциями, а «фон» — высшими. Такие явления, как автоматизированное и деавтоматизированное течение какого-либо процесса, или осуществление одной и той же функции на различном уровне и т. п., могут получить свое предположительное объяснение с точки зрения только что описанных особенностей в строении межцентральных отношений при различных формах деятельности сознания.

5. Экспериментальные исследования, которые послужили фактическим материалом для сформулированных выше обобщений, приводят нас к двум следующим положениям:

1) При каком-либо очаговом поражении (афазия, агнозия, апраксия) все прочие функции, не связанные непосредственно с пораженным участком, страдают специфическим образом и никогда не обнаруживают равномерного снижения, как этого следовало бы ожидать согласно теории эквивалентности любых участков мозга в отношении их неспецифической функции.

2) Одна и та же функция, не связанная с пораженным участком, страдает также совершенно своеобразно, совершенно специфическим образом, при различной локализации поражения, а не обнаруживает одинакового при различной локализации фокуса — снижения или расстройства, как этого также следовало ожидать согласно теории эквивалентности различных участков мозга, участвующих в образовании «фона».

Оба эти положения заставляют прийти к выводу, что функция целого организована и построена как интегративная деятельность, в основе которой лежат сложнодифференцированные иерархически объединенные динамические, межцентральные отношения.

Другой ряд экспериментальных исследований позволил нам установить следующие положения:

1) Какая-либо сложная функция (речь) страдает при поражении какого-либо одного участка, связанного с одной частичной стороной этой функции (сенсорной, моторной, мнемической), всегда как целое во всех своих частях, хотя и неравномерно, что указывает на то, что нормальное функционирование такой сложной психологической системы обеспечивается всегда не совокуп-

ностью функций специализированных участков, но единой системой центров, участвующей в образовании любой из частичных сторон данной функции.

2) Любая сложная функция, не связанная непосредственно с пораженным участком, страдает совершенно специфическим образом не только в меру снижения «фона», но и как «фигура» при поражении ближайшим образом связанного с ней в функциональном отношении участка. Это указывает снова на то, что нормальное функционирование какой-либо сложной системы обеспечивается интегральной деятельностью определенной системы центров, в состав которой входят не только центры, непосредственно связанные с той или иной стороной данной психологической системы.

Оба эти положения заставляют прийти к выводу, что и функция части, как и функция целого, построена, как интегративная деятельность, в основе которой лежат сложные межцентральные отношения.

6. В то время как структурно-локализационный анализ сделал большие успехи в смысле выделения и изучения этих сложных иерархических межцентральных отношений, функциональный анализ у самых передовых исследователей ограничивается до сих пор применением одних и тех же иерархически нерасчлененных функциональных понятий к деятельности как высших, так и низших центров. Эти исследователи толкуют расстройство высших в функциональном отношении центров (например, широкой зрительной сферы Петцля) с точки зрения психологии функций низших центров (узкой зрительной сферы). Структурная психология, на которую опираются эти авторы, по самому существу заложенных в ней принципов не в состоянии адекватно отобразить всю сложность и иерархичность этих межцентральных отношений. Вследствие этого исследователи не выходят за пределы чисто описательного анализа (примитивнее — сложнее; короче — длиннее) и вынуждены сводить специфические функции высших центров по отношению к низшим к торможению и высвобождению, игнорируя то специфически новое, что вносит с собой в деятельность мозга функция каждого из этих высших центров. Высшие центры с этой точки зрения могут тормозить и сенсibiliзировать деятельность низших, но не могут создать и привнести в деятельность мозга ничего принципиально нового. Наши

исследования, напротив, склоняют нас к обратному допущению, именно к признанию того, что специфическая функция каждой особой межцентральной системы заключается прежде всего в обеспечении совершенно новой, продуктивной, а не только тормозящей и возбуждающей деятельности низших центров, формы сознательной деятельности. Основное в специфической функции каждого высшего центра есть новый *modus operandi* сознания.

7. *Второй* из общетеоретических выводов, к которым мы были приведены в результате наших экспериментальных исследований, касается вопроса о соотношении функциональных и структурных единиц при расстройствах детского развития, возникающих на основе какого-либо мозгового дефекта и при распаде каких-либо психологических систем вследствие аналогичного (в отношении локализации) поражения зрелого мозга. Сравнительное изучение симптоматиологии психического недоразвития при том или ином дефекте мозга и патологических изменений и расстройств, возникающих на основе аналогичного в локализационном отношении поражения зрелого мозга, приводит к выводу, что аналогичная симптоматическая картина в том и другом случае может наблюдаться при различно локализованных поражениях у ребенка и взрослого. И наоборот, одинаково локализованные поражения могут привести у ребенка и взрослого к совершенно различной симптоматической картине.

С положительной стороны эти глубокие различия в последствиях одинаковых поражений при развитии и при распаде могут быть охвачены следующим общим законом: при расстройствах развития, вызванных каким-либо церебральным дефектом при прочих равных условиях, больше страдает в функциональном отношении ближайший высший по отношению к пораженному участку центр и относительно меньше страдает ближайший низший по отношению к нему центр; при распаде наблюдается обратная зависимость: при поражении какого-либо центра при прочих равных условиях больше страдает ближайший к пораженному участку низший зависящий от него центр и относительно меньше страдает ближайший высший по отношению к нему центр, от которого он сам находится в функциональной зависимости.

Фактическое подтверждение этого закона мы находим во всех случаях врожденных или ранних детских афазий и агнозий и в случаях расстройств, наблюдающихся у детей и взрослых, в качестве последствий эпидемического энцефалита, в случаях олигофрении с различной локализацией дефекта.

Объяснение этой закономерности лежит в том факте, что сложные отношения между различными церебральными системами возникают как продукт развития и что, следовательно, в развитии мозга и в функционировании зрелого мозга должна наблюдаться различная взаимная зависимость центров: низшие центры, служащие в истории развития мозга предпосылками для развития функций высших центров, являющихся вследствие этого зависимыми в своем развитии от низших центров, в силу закона перехода функций вверх сами оказываются в развитом и зрелом мозгу несамостоятельными, подчиненными инстанциями, зависящими в своей деятельности от высших центров. Развитие идет снизу вверх, а распад — сверху вниз.

Дополнительным фактическим подтверждением этого положения являются наблюдения над компенсаторными, замещающими и обходными путями развития при наличии какого-нибудь дефекта; эти наблюдения показывают, что в зрелом мозгу компенсаторную функцию при каком-либо дефекте принимают на себя часто высшие центры, а в развивающемся мозгу — низшие по отношению к пораженному участку центры. Благодаря наличию этого закона сравнительное изучение развития и распада является в наших глазах одним из плодотворнейших методов в исследовании локализационной проблемы, и, в частности, проблемы хроногенной локализации.

8. *Последнее из трех* упомянутых выше общетеоретических положений, выдвигаемых нами на основании экспериментальных исследований, касается вопроса о некоторых особенностях локализации функций, связанных со специфически человеческими областями мозга. Исследование афазии, агнозии и апраксии приводит нас к выводу, что в локализации этих расстройств существенную роль играют нарушения экстрацеребральных связей в деятельности той системы центров, которая в нормальном мозге обеспечивает правильное функционирование

высших форм речи, познания и действия. Фактическим основанием для этого вывода служат наблюдения над историей развития этих высших форм деятельности сознания, которая показывает, что первоначально все эти функции выступают как тесно связанные с внешней деятельностью и лишь впоследствии как бы уходят во внутрь, превращаясь во внутреннюю деятельность, и исследования компенсаторных функций, возникающих при этих расстройствах, которые также показывают, что объективирование расстроенной функции, вынесение ее наружу и превращение ее во внешнюю деятельность является одним из основных путей при компенсации этих нарушений.

9. Защищаемая нами система психологического анализа, которую мы применяли при исследовании проблемы локализации, предполагает коренное изменение метода психологического эксперимента. Это изменение сводится к двум основным моментам:

1) Замене анализа, разлагающего сложное психологическое целое на составные элементы и вследствие этого теряющего в процессе разложения целого на элементы подлежащие объяснению свойства, присущие целому как целому, анализом, расчленяющим сложное целое на далее не разложимые единицы, сохраняющие в наипростейшем виде свойства, присущие целому как известному единству.

2) Замене структурного и функционального анализа, неспособного охватить деятельность в целом, межфункциональным или системным анализом, основанным на вычленении межфункциональных связей и отношений, определяющих каждую данную форму деятельности.

Этот метод, если его применить к клинически-психологическому исследованию, позволяет: а) объяснить из одного принципа наблюдающиеся при данном расстройстве плюс- и минус-симптомы, б) свести к единству, к закономерно построенной структуре все, даже самые далеко отстоящие друг от друга симптомы и в) наметить путь, ведущий от очаговых расстройств определенного рода к специфическому изменению всей личности в целом и образа ее жизни.

10. Есть все теоретические основания для предположения, что проблема локализации не может решаться совершенно одинаковым образом для животных и чело-

века и что поэтому прямое перенесение данных из области экспериментов над животными с экстирпацией отдельных частей мозга в область клинической разработки проблемы локализации (Лешли) не может привести ни к чему иному, кроме грубых ошибок. Утверждающееся все больше и больше в современной сравнительной психологии учение об эволюции психических способностей в животном мире по чистым и смешанным линиям заставляет склониться к мысли, что специфические для человека отношения структурных и функциональных единиц в деятельности мозга едва ли могут быть в животном мире и что человеческий мозг обладает новым по сравнению с животным локализационным принципом, благодаря которому он и стал мозгом человека, органом человеческого сознания.



---

ПОВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ  
И ЧЕЛОВЕКА

---

## ЭВОЛЮЦИЯ И ПОВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА

**О**снованием современной научной психологии в изучении поведения животных служит учение Дарвина. Это учение, или эволюционная теория, как его иногда называют, связано в основном с понятием развития как основного процесса, с помощью которого возникла в действительности и может быть поэтому научно объяснена вся картина современного растительного и животного мира. Эта же теория в основном дает ключ и к пониманию поведения животных.

Правда, исследования поведения животных в этом отношении наталкиваются на огромные трудности и полностью картина эволюции поведения в животном мире не может еще считаться сейчас выясненной. Разработка сравнительной психологии в аспекте эволюционной теории началась сравнительно недавно, и в настоящее время наука не располагает еще сколько-нибудь полным и отчетливым представлением ни о действительном многообразии всех форм поведения в животном мире, ни об их научной систематике и классификации, ни об эволюционной преемственности и путях развития одной формы из другой.

Но основные принципы эволюционной теории в психологии заложены столь же незыблемо, как и в других областях изучения животных, и огромный фактический материал является уже сейчас доказательством того, что только эволюционная теория, только учение Дарвина мо-

жет явиться ключом к правильному пониманию и объяснению поведения животных.

В этом смысле идея развития, идея исторического метода глубоко укоренилась в современной психологии, которая рассматривает каждую форму поведения как продукт длительного процесса развития, как форму, исторически связанную с предшествующими более низкими формами. Подобно тому как Гёте некогда в Падуанском ботаническом саду, наблюдая самые разнообразные растения, выразил в простой формуле всю будущую идею эволюции, сказав, что все растения произошли из одного, современная психология, не зная еще полностью всей реальной картины эволюции поведения, уже с полной определенностью может сказать, что все формы поведения во всем их многообразии связаны единством происхождения, и «степени их сходства, — по выражению К. Тимирязева, — должны рассматриваться, как степени их родства».

Это включение поведения в общую систему эволюции имеет место уже в учении самого Дарвина. Дарвин приложил общую идею эволюционного учения к объяснению происхождения инстинктов, и в этом смысле начало научной психологии животных должно быть отнесено к работам Дарвина. Научная сравнительная психология начинается вместе с дарвинизмом, хотя сам по себе фактический материал, которым располагал Дарвин в этом отношении, оказался, с точки зрения современных исследований, недостаточно богатым и полным, а подчас прямо неверным. Дарвин первый выразил ту мысль, что инстинкты отдельных животных и их объективная целесообразность должны быть поняты и объяснены совершенно так же, как целесообразная организация в строении животных и в их деятельности.

Те же самые основные факторы, которые определяли собой в процессе биологического развития изменение строения тела и функций отдельных органов животного, явились, в основном, и движущими причинами развития поведения. Эти основные движущие силы заключаются в действии естественного отбора и в борьбе за существование, которую ведут животные виды. Инстинкты представляют собой с этой точки зрения унаследованные стереотипные способы деятельности или поведения животного, как рефлексы представляют собой стереотипные унаследованные формы деятельности отдельных органов в ответ

на определенные внутренние или внешние раздражения; те и другие являются одной из основных форм приспособления животных к окружающей среде.

Поэтому точно так же, как устройство организма животных и функции его отдельных органов находятся в удивительном соответствии с условиями среды, инстинкты и рефлексы поражают исследователей своей видимой целесообразностью. Эта объективная целесообразность наследственных способов поведения прежними психологами истолковывалась антропоморфически, т. е. путем перенесения на животных высших форм поведения человека. Новая психология пытается объяснить объективную целесообразность этих наследственных, врожденных форм поведения тем же самым путем, каким Дарвин объясняет целесообразность устройства организма животного.

В «Жизни животных» Брэма рассказывается, что млекопитающее обладает памятью, разумом и чувством и часто имеет поэтому определенный характер. Оно проявляет способность различения времени, места, цветов и тонов, способность познания, дар восприятия, суждения, способность умозаключения. Оно сохраняет приобретенный опыт и использует его, оно узнает об опасностях и размышляет о средствах, чтобы избежать их, оно проявляет склонность и отвращение, любовь к супругу и детям, друзьям и благодетелям, ненависть к врагам и противникам, благодарность, верность, внимание и презрение, радость, боль, гнев, хитрость и ум, честность и лукавство. Умное животное считает, обдумывает, соображает, прежде чем действовать. Чувствительное, оно сознательно жертвует свободой и жизнью, чтобы удовлетворить своему внутреннему порыву. Животное имеет очень возвышенное понятие о товариществе и жертвует собой для блага общества, ухаживает за больными, поддерживает слабейших и делит свою пищу с голодными. Оно преодолевает похоти и страсти и учится владеть собой, проявляет, следовательно, также самостоятельную волю и силу воли. В этом суммарном описании способностей животного Брэм перечисляет целый ряд чисто человеческих способов поведения и мышления, приписывая их животному исключительно на основании внешнего сходства поступков животных с действиями людей в соответствующих обстоятельствах. Это суждение по внешнему сходству и отне-

сение к одному классу самых различных по своему происхождению и по своей природе форм характерно не для одной психологии. В свое время до Дарвина такую же ошибку совершила и ботаника, когда она систематизировала растения по какому-нибудь внешнему признаку, например по сходству формы листьев или окраски цветов. Только Дарвин дал научное основание для генетической классификации и систематики различных форм. Но психология проделывает тот же самый путь несколько позже, чем это проделали остальные биологические науки.

Причиной этого является историческая судьба самой психологии, которая придала своеобразный характер всему процессу развития этой области научного знания и наложила своеобразный отпечаток даже на современное состояние этой науки. Это своеобразие развития психологии заключается в том, что психология развивалась очень долго под влиянием метафизических, религиозных и идеалистических философских систем. Самое понятие о душе было перенесено в психологию из религиозных учений, и метафизическая психология, рассматривая душу как особое, живущее в теле человека существо чисто духовной природы, больше, чем всякая другая наука, стояла при всем разнообразии своих построений на почве библейского учения, гласящего, что бог создал человека и вдохнул в него душу.

Известно, что учение Дарвина явилось самым сильным ударом, который наука нанесла библейскому представлению о сотворении всех форм растительных и животных. Расстаться с библейским учением оказалось значительно легче в ботанике, зоологии, даже в анатомии и физиологии человека, чем в психологии. Именно поэтому учение Дарвина пролагало себе с таким большим трудом путь к овладению научной психологией. То, что Брэм излагает в суммарной форме относительно психологии млекопитающих животных, на деле находило свое выражение в целом ряде частных зоопсихологических исследований, строящихся на таком же антропоморфическом основании. Так, например, Романес, работу которого выдвигал Вундт, говорит по поводу отдельных форм поведения животных совершенно в духе Брэма.

Научная зоопсихология в лице Моргана и Вундта формулировала основное свое положение в следующем виде:

ни в коем случае мы не должны истолковывать какую-либо деятельность как действие высшей психической способности, когда она может быть истолкована как действие низшей.

Лучшей иллюстрацией того, до какой степени антропоморфические тенденции были сильны в зоопсихологии, является пример академика И. П. Павлова, изучавшего «психическое слюноотделение». Как известно, работы акад. Павлова, положившие начало точному объективному исследованию поведения животных, первоначально отпращивались от изучения так называемого факта психического слюноотделения, заключающегося в том, что при виде пищи у голодного животного «текут слюнки». В самом начале этого изучения акад. Павлов разошелся со своими сотрудниками в отношении способа истолкования этого факта во всем его многообразии и во всех его конкретных проявлениях. В то время как обычное истолкование обращалось к объяснению поведения животного на основании сходства с поведением человека и строило предположения о том, что собака вспомнила о пище, догадалась о том, что ее сейчас будут кормить и т. д., Павлов ввел другой принцип объяснения, игнорирующий антропоморфическое перенесение человеческих, психологических представлений на животных. Отсюда, как известно, и началось разделение субъективного и объективного направлений в исследовании поведения животных, разделение, о котором мы еще скажем в дальнейшем.

В результате развития научной психологии идеи дарвинизма все же настолько глубоко проникли в нее, что уже сейчас можно сказать, что они являются основным принципом, на котором строятся все научные психологические исследования.

Поведение, этому учит нас теория Дарвина, не развивается самостоятельно, как независимая, автономная, замкнутая в себе система. Поведение является деятельностью животных, определяемой, прежде всего, строением их организма и основными функциями их органов. Поэтому мы можем в настоящее время, по словам А. И. Северцова, различать два основных типа эволюции поведения.

Изучение изменений поведения в процессе эволюции приводит к выводу, что существуют два способа, посред-

ством которых животные приспособляются к различным изменениям среды, причем каждый из этих способов может быть, в свою очередь, подразделен на две категории. Первый тип составляют наследственные изменения, которые являются способом, посредством которого животные приспособляются к очень медленным, но вместе с тем и очень значительным изменениям среды. Посредством наследственных изменений: а) изменяется организация животных и вырабатываются те бесчисленные приспособительные изменения, которые нам известны на основании данных палеонтологии и сравнительной морфологии, и б) возникают рефлексy и инстинкты животных, причем изменяется наследственно самое поведение животных; в некоторых случаях это изменение поведения происходит без изменения строения органов, в других сопровождает его, так как эволюция нового, активного, а часто и пассивного органа всегда требует изменения поведения животного.

Но этим типом изменения поведения не исчерпывается эволюция форм поведения в животном ряду. Ко второму типу приспособления относятся ненаследственные приспособления, которые, в свою очередь, являются приспособлениями к быстрым, хотя и не особенно значительным изменениям в условиях существования животного; сюда относятся: а) те изменения строения, которые мы, за неимением лучшего термина, обозначили как функциональные изменения строения животных, и б) изменения поведения животных, происходящие без изменения их строения, под влиянием тех психических процессов, которые мы отнесли к разумному типу.

«Мы видим, таким образом, — говорит А. И. Северцов, — что существует несколько отличных друг от друга способов приспособления животных к окружающей среде, посредством которых они приспособляются к изменениям, протекающим с различной скоростью. Эти типы приспособления до известной степени независимы друг от друга, т. е. в одних эволюционных рядах сильнее развиты одни, в других другие». Таким образом, изменения поведения животных являются одним из могучих средств приспособления животного к изменяющимся условиям среды, и можно отсюда с полной уверенностью заключить, что *биологическое значение поведения заключается в его приспособительной функции.* А так как приспособление

является общим принципом, по которому строятся все жизненные процессы и их развитие, то естественно, что и изменения поведения подчиняются в основе тем закономерностям, которые установлены для биологической эволюции в целом.

В связи с включением изменений поведения в общий контекст биологической эволюции возникают два основных методологических вопроса, которые являются в широкой степени спорными и разделяющими современную психологию на два больших лагеря. Первый из них: есть ли у животных психика? Второй: есть ли у животных разум? Рассмотрение обоих этих вопросов является необходимой предпосылкой для решения двух следующих, стоящих перед нами и более общих проблем: во-первых, для выяснения общего направления, общей схемы эволюции психики и поведения и, во-вторых, для решения вопроса об отношении поведения животных и человека. Этими четырьмя вопросами и исчерпывается, в основном, интересующая нас проблема в целом.

## **ЕСТЬ ЛИ У ЖИВОТНЫХ ПСИХИКА?**

Как известно, многие психологи и философы склонны отрицать наличие психики у животных. Уже Декарт отказывал животным в наличии души и рассматривал их как рефлекторные машины. Для Декарта поэтому животные представляли собой не что иное, как живые автоматы, и наличие душевной жизни, наличие переживания, сознания является для него отличительной чертой человека. Вопрос о том, насколько можно животным приписывать сознательные переживания, является очень спорным, и, по признанию исследователей, точное и прямое фактическое разрешение его до сих пор недоступно.

Мы видели, что в этом вопросе существуют две крайние точки зрения, из которых одна, идя по пути, намеченному Декартом, склонна отрицать всякое наличие психических явлений в собственном смысле этого слова у животных, а другая склонна, напротив, приписывать животным всю полноту психических переживаний, свойственных человеку. Обе эти точки зрения представляются в



свете современного философского и научного исследования этого вопроса несостоятельными.

Несостоятельность декартовской точки зрения явствует уже из самого приложения дарвинизма к учению о поведении. Ведь основной пружиной всего дарвинского учения является идея развития. В противовес учению о сотворении животных видов и об их неподвижном сосуществовании рядом друг с другом Дарвин выдвинул идею естественного происхождения видов, их развития, изменения и смены. Если встать на точку зрения Декарта и допустить, что животные представляют собой простые рефлекторные автоматы, лишенные всяких зачатков психики, остается совершенно не выясненным факт возникновения человеческой психики, факт внезапного появления переживаний у человека. Отрицание психики у животных заранее закрывает всякую возможность генетического объяснения, т. е. объяснения с эволюционной точки зрения развития человеческой психики.

Это главный и центральный момент всей проблемы. Отрицание психики у животных с неизбежностью приводит к метафизическому объяснению психики человека и противоречит основам дарвинского учения в психологии. Факт существования человеческой психики становится необъяснимым, если не допустить, что психические явления, как и все остальные проявления животных и человека, развились из чего-то такого, что им предшествовало. Отрицание психики у животных с необходимостью толкает исследователя к метафизическому и идеалистическому объяснению, признающему первичность, самостоятельность человеческой психики и ее независимость от материального бытия.

Не удивительно поэтому, что учение об отсутствии психики у животных принадлежит Декарту, который выставил известное положение: «Я мыслю, следовательно, я существую», — положение, выводящее бытие из мышления. И поэтому же создается парадоксальное положение, когда крайний, упрощенный материализм снизу — в области зоопсихологии, отрицающий психику у животных, — с необходимостью приводит к идеализму сверху — в области психологии человека, которая, при такой постановке вопроса, неизбежно должна признать первичность, независимость и неразвиваемость душевных явлений.

Второе затруднение, на которое наталкивается гипоте-

за относительно отсутствия психики у животных, заключается в резком противоречии с широко известными фактами, приводящими нас к признанию двух основных положений. Первое из них заключается в том, что уже в раздражимости, которая является первичным свойством всякой живой клетки, заложены зачатки того, из чего впоследствии путем длительной эволюции должна развиться человеческая психика. Генетическая близость и общность этих явлений так бросаются в глаза, что подобно уже приведенному выражению Гёте, утверждавшему, что все растения произошли из одного, современная психология, озирая единым взглядом все многообразие психических форм в животном ряду и даже у человека, может сказать, подобно Гёте: «Все формы психических явлений произошли из раздражимости».

Второе положение заключается в том, что изучение психических явлений человека приводит к тому несомненному выводу, что самая психика является не чем иным, как функцией мозга, и обусловлена непосредственно материальными условиями его деятельности. Психическое, таким образом, оказывается не оторванным от нервной системы, но неразрывным и теснейшим образом связанным с ней, и все известные нам факты из области психической жизни с неизбежностью приводят к одному общему выводу, гласящему, что психические явления не имеют самостоятельного бытия; мышление не существует вне мозга, который мыслит, психический процесс не существует вне материального процесса, который является его основой. А раз так, раз все факты учат нас признанию несамостоятельности психических явлений, а их зависимости от материальных, становится непонятным, как мы можем допустить самостоятельное возникновение несамостоятельных явлений, как это самостоятельное возникновение психических явлений привело к их обусловленности со стороны мозговых материальных процессов и каким образом история возникновения психических явлений может быть понята вне истории возникновения тех материальных органов и процессов, вне которых они не могут существовать.

Мы видим, таким образом, что и с теоретической, и с фактической стороны гипотеза об отсутствии психики у животных наталкивается на неразрешимые противоречия и, следовательно, должна быть отброшена.

## ЭВОЛЮЦИЯ ПСИХИКИ И РАЗУМНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Второй большой вопрос, который до сих пор разделяет на два лагеря представителей современной сравнительной психологии, заключается в проблеме разумного поведения животных. Есть ли у животных разум? Так может быть сформулирован этот вопрос, который, в свою очередь, связан с рассмотренным нами выше вопросом: есть ли у животных психика? Правда, по верному замечанию К. Бюлера, мы еще до сих пор не знаем биологических функций сознания; поэтому до сих пор возобновляются попытки истолковать и самые высшие формы поведения без учета психической стороны реакций животного.

Трудность изучения психического мира заключается в том, что явления, обозначаемые этим именем, недоступны непосредственному объективному наблюдению и не могут быть непосредственно констатированы у другого. Только сам переживающий человек непосредственно может убедиться в наличии того или иного переживания. Поэтому прямого, непосредственного, упирающегося в очевидность доказательства наличия психики у животных нет и по самой природе вещей не может быть. Однако было бы большой ошибкой сделать отсюда тот вывод, который делали сторонники агностицизма в психологии, которые утверждали, что в силу этого чужое состояние сознания непознаваемо, недоступно научному исследованию и потому раз навсегда должно быть устранено из поля научного зрения.

Ошибка такого рассуждения заключается, во-первых, в том, что источником научного знания признается только прямое, только непосредственное знание, и, во-вторых, в допущении, что можно произвольно выбросить или вычеркнуть из мира явлений целый своеобразный ряд процессов и что, несмотря на это, мы все же сумеем получить полное и адекватное знание о том круге явлений, в состав которого, как его внутренний необходимый момент, входит психика. Оба эти утверждения покоятся на ложной основе.

Нет ничего более ошибочного, чем отождествлять всякое научное знание с так называемым «непосредственным знанием». История науки и ее практика на каждом

шагу дают нам примеры того, как выводятся научные законы относительно явлений, недоступных нашему непосредственному восприятию. Когда геолог воссоставляет прошлое Земли, когда историк воссоздает прошлое человечества, когда биолог охватывает эволюционной теорией все прошлое живых организмов — во всех этих случаях ни геологу, ни историку, ни биологу не дан объект их исследования в качестве предмета непосредственного восприятия, но, изучая связи, проявления, следы, наука может составить верное знание и о предметах, непосредственно недоступных восприятию.

То же самое относится и к психике. Там, где мы не можем основываться в ее исследовании на непосредственных восприятиях интересующего нас явления, мы можем прибегнуть к методу изучения следов, проявлений, связей, которые с документальной достоверностью могут привести нас к некоторым общим заключениям в отношении интересующего нас вопроса. Таким является в первую очередь установленный наукой факт функциональной связи и зависимости сознания от нервной системы. Этот многократно подтвержденный факт позволяет нам, опираясь на изучение нервной системы и ее функций, составить себе предположительное мнение о том, как различные формы организации и деятельности нервной системы могут быть связаны с психикой, с переживанием. Мы знаем целый ряд установленных зависимостей между внутренней «феноменальной» стороной поведения и внешним проявлением ее у человека, другими словами, мы располагаем целым рядом возможностей косвенным, окольным путем умозаключать относительно психической жизни животного.

Само собой разумеется, эти обстоятельства делают предмет нашего изучения крайне трудным. Они осуждают исследователей на то, чтобы долгое время довольствоваться недостаточно дифференцированным и точным представлением, но ведь и геолог, и биолог не могут представить себе всех этапов эволюции с такой непосредственной ясностью, с какой мы можем в микроскоп рассмотреть каплю воды.

Другая ошибка еще больше. Как бы мы ни решали вопрос относительно биологических функций психики, ясно одно, что природа не создает лишних и ненужных аппаратов, что психика, непосредственно связанная с

развитием центральной нервной системы, является внутренне необходимым моментом в ее деятельности. Психические явления не могут поэтому рассматриваться, как эпифеномен, как бесплатное и ненужное приложение к физиологическим процессам.

Затруднительность и бесплодность вопроса относительно биологических функций психики, думается нам, заключена в том, что сам вопрос ставился неправильно. Вопрос, заданный в этой форме, неизбежно приводит нас к лжепроблеме, которая потому до сих пор не разрешена, что она по сути своей неразрешима. Кто задает вопрос *о самостоятельных биологических функциях сознания, тот наперед предполагает, что процессы сознания имеют самостоятельное бытие и могут выполнять некую самостоятельную функцию.*

Но все решительно учит нас противоположному. Мышление, как уже сказано, само является не чем иным, как функцией мозга. Психическое не имеет самостоятельного существования, оно, по определению Спинозы, есть не субстанция, но атрибут. Психическое явление никогда не существует само по себе, оно всегда является только внутренне необходимым моментом более сложного психофизиологического процесса, и, следовательно, сам вопрос о самостоятельной функции психики покоится на ложной предпосылке, будто психические процессы протекают параллельно или взаимодействуя с физиологическими, т. е. вопрос этот опирается в конечном счете на психофизиологическую гипотезу параллелизма или взаимодействия, о которых мы скажем ниже. В самом деле, вместе с несостоятельностью этих обеих гипотез обнаруживается и несостоятельность вопроса о самостоятельной биологической функции сознания.

Но если мы поставим этот же вопрос иначе и спросим себя, какова биологическая функция всего психофизиологического процесса в целом по сравнению с более простой организацией нервных процессов, то мы получим ясный и достаточно богатый и содержательный ответ на эти вопросы. Мы увидим, как увеличивается пластичность приспособительных функций, как разнообразятся формы, как возникают новые способы поведения, как растет объединяющая, интегрирующая, синтезирующая деятельность, одним словом, как увеличиваются приспособительные возможности животного по мере развития тех слож-

ных психофизиологических по своей природе процессов, одним из внутренне необходимых моментов которых является переживание. Если, далее, мы обратимся к анализу этих процессов самих по себе, к изучению их функциональной структуры, к их способу деятельности, к их развитию, мы увидим закономерную связь в самых различных моментах этих процессов.

Теперь, если, исходя из неверной предпосылки о непознаваемости психики, мы вычеркнем эти внутренне необходимые и присущие функциям мозга на их высшей степени моменты, будем игнорировать психическое, как это делают «чисто объективные» направления в психологии, и тем самым представим в искаженном виде действительную картину функционирования высших процессов в нервной системе, мы зачеркнем их существенную необходимую часть, мы уничтожим качественную разницу между высшими и низшими процессами, мы погрешим против реальной объективной действительности в угоду нашему субъективному методологическому выводу, опирающемуся на агностицизм.

Объективная действительность существует вне нас и независимо от нашего познания. К этой объективной действительности относится и психика. Познаем ли мы ее или не познаем, от этого ее существование не изменится. Представление о том, что мы можем просто не обращать внимания на часть действительности, основывается на идеалистическом заблуждении, будто, говоря языком Канта, разум предписывает законы действительности. Психолог, поступающий так, напоминает страуса, прячущего голову в песок и думающего, что он скрылся от преследующих его охотников. Субъективное вычеркивание известного ряда явлений из области познания наивно принимается этими исследователями за объективное исключение этого ряда из реальной действительности.

Мы видим, таким образом, что агностицизм приводит не просто к *неполной* картине изучаемой им области действительности, сознательно вычеркивая из нее целый ряд явлений, но что он с неизбежностью приводит к *искаженной, не соответствующей действительности картине* и той части действительности, которую он хочет изучить.

Если принять во внимание все сказанное выше, станет совершенно ясным наше утверждение о том, что два вопроса: есть ли у животных психика и есть ли у живогных

разум — оказываются внутренне связанными между собой, ибо именно разумный тип действия, как это мы знаем из психологии человека, больше чем всякий другой внутренне необходимо связан с наличием психического момента. Та высшая пластичность, которую обнаруживает мышление, возникает в процессе развития только тогда, когда эволюция психики достигает достаточно высокого уровня.

Чем реактивнее, чем несамостоятельнее, чем автоматичнее деятельность животного, тем меньше она связывается с психикой; чем, напротив, более творческий, более пластичный, более синтетический характер она приобретает, тем больший удельный вес в ее внутренней структуре приобретает психический момент: отражение ситуации в психике животного, отражение импульсов и его собственных действий.

Психическое, как показывает исследование, связано наиболее тесным образом с высшими процессами поведения, оно является атрибутом самых высших форм животной активности.

Вопрос о разуме животных, как и вопрос об их психике, не новый вопрос. Не только древняя философия, но и средневековое церковное мышление решало этот вопрос в том приблизительно духе, в каком его решают и некоторые из представителей современной «объективной психологии». В силу тех же самых тенденций, под давлением которых отрицалось наличие психики у животных, мысль склонялась и к отрицанию у них разума. Наиболее последовательное проведение этой мысли мы находим у Декарта. Как уже сказано выше, он рассматривал животных как автоматы, совершенно лишённые психической жизни. Это утверждение основывалось им на отрицании разума у животных, ибо существенным признаком духовной субстанции он считал мысль. Но как раз мышления, полагал он, мы не наблюдаем у животных. Они бессловесны, иные действия они выполняют гораздо лучше нас, но в новых обстоятельствах они не умеют действовать целесообразно. Следовательно, они действуют «не по сознанию», а вследствие особого устройства своих органов. Декарт обращал внимание на то, что нет столь тупого и глупого человека, не исключая даже и сумасшедшего, который не мог бы выразить свои мысли в словах. Напротив, говорил он, нет ни одно-

го животного, как бы оно ни было совершенно и какими бы прекрасными способностями ни было наделено природой, которое могло бы сделать что-либо подобное. Это обстоятельство, заключает он, доказывает не только то, что у животных разума меньше, чем у человека, но что у них его вовсе нет.

В животных, по его мнению, действует не сознание, но природа. Механизм не может часто обнаружить гораздо более тонкие и сложные действия, чем те, на которые способно наше сознание. Примером этого является деятельность ряда жизненных функций, совершенно независимых от сознания и действующих в высшей степени целесообразно. Так, часы, говорит Декарт, составлены только из колес и пружины, а между тем могут считать минуты и измерять время вернее, нежели мы со своим разумом.

Нет сомнения, говорит он в другом месте, что у животных нет никакого настоящего чувства, никакой настоящей страсти, как у нас, но что они только автоматы, хотя и несравненно совершеннее всякой машины, сделанной человеком.

Мы видим, таким образом, что отрицание психики у животных уже в эту пору связывалось с отрицанием у них разума. Если бы мы могли опровергнуть Декарта и показать, что у животных могут быть обнаружены зачатки человекоподобного разума, мы бы поколебали один из его самых основных аргументов, заставляющих его утверждать, что животные — это автоматы.

Но необходимо усвоить ту мысль, что оба эти утверждения о психике и разуме животных упираются в конечном счете в общий метафизический корень идеалистического мышления. Декарт считал, что предположение, будто душа животных имеет ту же природу, как наша, и что, следовательно, мы ничего не должны бояться и ни на что не должны надеяться после земной жизни, точно так же, как мухи и муравьи, что это заблуждение столь же пагубно, как заблуждение людей, отвергающих бытие божие. «Между тем, — продолжает он, — когда доказано различие души, то гораздо понятнее основания, доказывающие, что природа нашей души совершенно независима от тела, и потому душа не может умереть вместе с телом».



Нельзя яснее, чем это сделал Декарт, показать, что вопросы о признании или отрицании психики и разума у животных не только связаны теснейшим образом между собой, но сами являются частью большого вопроса о природе души. Именно во имя религиозного представления о божественной природе человеческой души, о ее независимости от тела, о ее бессмертии Декарт отрицал психику и разум у животных, понимая, что тот, кто признает психику и разум у животных, с неизбежностью должен прийти к мысли о естественном возникновении человеческой души и человеческого разума, к отрицанию ее бессмертия и ее независимости от тела, одним словом, должен прийти к атеистическому и материалистическому пониманию душевной жизни. Точно так же Дарвин совершенно ясно понимал, что, приписывая животным психику и разум, он тем самым восстает против библейского учения о божественной природе души и ее независимости от тела, но включает эволюцию психических способностей в общий контекст органической эволюции.

С моим пониманием, отмечал Дарвин, родоначальник противоположного учения, гораздо более вяжется, если инстинкты молодой кукушки, выбрасывающей из гнезда своих сотоварищей, инстинкты личинки наездника, пожирающей свою жертву в живом состоянии, инстинкты кошки, играющей с мышью, или речной выдры, играющей с рыбой, и я привожу их не в качестве примера инстинктов, которыми творец наделил животное, но осмеливаюсь оценивать, как отдельные проявления общего закона, ведущего весь органический мир к прогрессу, — закона, по которому сильным принадлежит жизнь, слабые обречены смерти.

Как известно, Дарвин несомненно преувеличивал уровень психического развития животных и уровень доступных животному разумных действий. Если Декарт разделил человека и животного непроходимой бездной, то Дарвин не столько искал указаний на эволюцию психики, сколько поднимал животных до человека. Например, виноградная улитка наделяется им всеми способностями человеческой психики: способностью рассуждать, испытывать эмоции и т. д. Мы находим поэтому у Дарвина некоторую переоценку психики животных, некоторый антропоморфизм, но основные его идеи были верны.

По правильному замечанию одного из исследователей

(Д. П. Кашкаров), вся история сравнительной психологии показывает нам непрерывную борьбу между двумя противоположными тенденциями, которые одерживают верх по очереди: борьбу между теориями чисто механическими и антропоморфическими. Не удивительно поэтому, что после Ламарка, вполне до конца последовательного эволюциониста, антропоморфизм достигает своего полного расцвета у Дарвина и его учеников — Бюхнера, Ромэнса и других. Заслуга всей этой школы заключается в том, что она настаивает на духовном родстве людей и животных; ее ошибки основаны на том, что она слишком очеловечивает душу животных.

В этом отношении Ламарк был значительно последовательнее Дарвина, хотя, как известно, он и не смог раскрыть законы эволюции, как это сделал Дарвин. В третьей части его «Философии зоологии» мы видим у него идеи, которые могут быть приняты и служить основанием современной психологии. Он исходит из связи психики и нервной системы и зависимости психической эволюции от совершенствования нервной системы, т. е. как видим, из двух тезисов, совершенно противоположных тезисам Декарта. Последовательно проводя эту основную свою точку зрения, Ламарк приписывает разумность и волю лишь высшим животным.

Вопрос о разумности не был разрешен Дарвином, и идеи Дарвина легли в основу современной биологической психологии лишь постольку, поскольку она касается вопроса инстинктов. Правда, Дарвин, не имевший вполне определенного взгляда на проблему наследования приобретенных признаков, допускал, что многие разумные действия, повторяясь на протяжении нескольких поколений, становятся наследственными и инстинктивными, такие действия «нисходят, так сказать, на низшую ступень», так как впредь они выполняются не на основании понимания и опыта.

Но большая часть наиболее сложных инстинктов возникла, по-видимому, совершенно другими способами, именно путем естественного подбора вариаций более простых инстинктов. Эти вариации возникают вследствие неизвестных обстоятельств, влияющих на организацию мозга точно таким же образом, как они могут вызвать маленькие вариации и индивидуальные различия других частей тела. Так как мы не знаем этих причин, то мы

обыкновенно говорим, что вариации возникают произвольно. Я думаю, что мы не можем прийти ни к какому другому заключению относительно происхождения наиболее сложных инстинктов, если будем рассматривать удивительные инстинкты бесплодных работниц у муравьев и пчел, которые не оставляют никакого потомства, которому бы они могли передать в наследство свой опыт и приобретенные привычки.

Здесь, таким образом, впервые со всей ясностью были сформулированы великие фундаментальные законы психической эволюции, состоящие в признании того, что эволюция мозга совершалась по тем же основным законам, как и эволюция других частей тела, т. е. составляла часть общеорганической эволюции, подчиняясь законам наследственной вариации и естественного отбора, и далее, что эволюция инстинктов от простых к сложным являлась лишь естественным выводом из эволюции мозга, подчиняясь также закону вариаций и отбора; что эволюция психики относится к эволюции мозга совершенно так же, как эволюция всякой функции относится к эволюции выполняющего ее органа.

Если мы возвратимся к тому, как стоит вопрос о разуме животных в современной психологии, мы увидим снова в новой вариации, на новой фактической основе ту самую философскую ситуацию, которую мы сейчас изложили на примере воззрений Декарта и Дарвина. Идеи Декарта, т. е. идеи последовательно механического истолкования поведения животных, в наше время воплощены в работах так называемой объективной психологии, которая в практике психологического исследования осуществляет оба основных принципа Декарта — отрицание психики и отрицание разума у наблюдаемых животных.

Э. Торндайк выступил против антропоморфического истолкования поведения животных, которое шло от последователей Дарвина и привело сравнительную психологию, как это ни странно, к отрицанию тех положений, которые лежат в основе дарвинской теории. Внутренний порок дарвинского учения привел, следовательно, к тому, что, проделав полный круг развития и вернувшись к своей исходной точке, *это учение пришло к отрицанию того, из чего оно само исходило.*

Поясним это в нескольких словах. Дарвин исходил из признания родства животных и человека, из идеи раз-

вития психики, которая, по его мнению, составляла часть общей органической эволюции. Но, так как он сам поднимает поведение виноградной улитки на степень человеческого сознания, так как он сам допускает антропоморфические воззрения на поведение животных, он как бы отрицает необходимость эволюции для объяснения возникновения человеческой психики, предполагая, что эта психика дана в готовом виде на самых ранних этапах биологической эволюции, что она просто должна быть опущена до уровня низших животных, но вовсе не должна быть выведена с помощью идеи развития из бесконечных метаморфоз, приведших ее в конечном счете к психике и сознанию человека.

- В руках его последователей этот опасный антропоморфизм превратился в анекдотическое истолкование поведения животных на основе простого сходства с поведением человека и привел, следовательно, к отрицанию самой идеи эволюции, ибо антропоморфизм заключает в себе, в сущности, в скрытом виде антиэволюционную точку зрения. Поразительным доказательством диалектического развития идей в какой-нибудь научной области является тот факт, что последователи Дарвина, совершив полный круг в развитии своих идей, вернулись к той точке зрения, на которой стояли самые наивные антропоморфисты — древние писатели вроде Плутарха и ему подобных.

Реакцией против такой точки зрения, приписывавшей животным взгляды, мысли и намерения человека, явились объективные научные исследования поведения животных, в которых путем тщательных наблюдений и экспериментов удалось установить, что многие по видимости сходные с человеческими операции животных принадлежат просто к числу инстинктивных, врожденных способов деятельности, а другая часть, видимо разумных способов поведения, обязана своим происхождением методу случайных «проб и ошибок» или методу самодрессировки животных. Торндайку в его классических экспериментальных исследованиях интеллекта животных удалось экспериментально показать, что животные, действуя по способу случайных «проб и ошибок», вырабатывали сложные формы поведения, которые по виду явились сходными с такими же формами у человека, но по существу были глубоко отличны от них.

Животные в опытах Торндайка открывали относительно сложные запоры, задвижки, справлялись с различной сложности механизмами, но все это происходило без малейшего понимания самой ситуации или механизма, исключительно путем самодрессировки.

Таковы были важнейшие итоги этих исследований, создавших, как уже сказано, целую эпоху в нашей науке. Кёлер справедливо говорит по этому поводу, что до самого последнего времени учение об интеллекте животных было охвачено этими негативистическими тенденциями, руководствуясь которыми исследователи старались доказать неразумность, нечеловекоподобность, механистичность поведения животных.

## ЕСТЬ ЛИ У ЖИВОТНЫХ РАЗУМ И РЕЧЬ?

Вопрос о том, обладают ли животные разумом или, вернее, могут ли быть с научной достоверностью констатированы у высших животных, более близко стоящих к человеку, начатки или корни тех форм деятельности и поведения, которые мы называем у человека разумными, издавна привлекал к себе внимание исследователей. До научной разработки этого вопроса господствовали два противоположных мнения, которые и до сих пор еще защищаются иногда двумя противоположными направлениями в науке о психологии животных.

Как мы видели выше, одно мнение, восходящее к Декарту, отрицает у животных наличие всякого сознания и рассматривает их как автоматы, которые выполняют сложную деятельность благодаря механической согласованности своих частей; другое мнение исходит из житейской практики и толкует поведение животных по аналогии с поведением человека. Это второе направление называют обычно антропоморфическим, поскольку оно приписывает животным всю сложность человеческого мышления.

Оба эти взгляда в процессе научных исследований были отвергнуты как несостоятельные. Как мы указывали выше, Торндайк, первый вставший на путь объективной психологии, произвел тщательные опыты над способностью животных к обучению. Его опыты с собаками, кош-

ками, обезьянами и т. д. не дали ему ни одного случая, который оказался бы хотя бы подобным мыслительной деятельности. Торндайк показал, что животные, действуя по способу случайных «проб и ошибок», вырабатывали сложные формы поведения, которые по виду являлись сходными с такими же формами у человека, но по существу были глубоко отличны от них.

Эти опыты открыли новую эпоху в психологии животных. Торндайк сам прекрасно определил это новое направление в изучении ума животных по его противоположности старой точке зрения. Прежде, говорит Торндайк, все очень охотно говорили об уме животных и никто не говорил об их глупости. Основной задачей нового направления явилась задача показать, что животные, будучи поставлены в ситуацию, сходную с той, в которой человек обычно размышляет, обнаруживают именно глупость, неразумное поведение, по существу не имеющее ничего общего с поведением размышляющего человека, и, следовательно, для объяснения этого поведения нет никакой надобности приписывать животным разум.

Таким образом, научные исследования покончили раз и навсегда с антропоморфическими представлениями об уме животных. Однако на этом дело научного исследования не остановилось. Вслед за решением этой задачи, вскрывшим механизм образования навыка, перед исследователями была поставлена новая задача, которая выдвигалась по существу дела уже исследованиями Торндайка. *Благодаря этим исследованиям созданся очень резкий разрыв между поведением животных и человека.* В поведении животного, как показали эти исследования, нельзя было установить ни малейшего следа интеллекта, и оставалось с естественнонаучной точки зрения непонятым, как возник разум человека и какими генетическими нитями он связан с поведением животного. Разумное поведение человека и неразумное поведение животного оказались разделенными целой бездной.

Два первых десятилетия XX в. заполнили этот разрыв благодаря целому ряду новых и чрезвычайно интересных исследований, проведенных над наиболее близко стоящими к человеку человекообразными обезьянами. Эти исследования были проведены немецким исследователем Кёлером—над шимпанзе, американским исследователем Иерксом—над орангутангом, шимпанзе, гориллой.

Эти опыты показали, что у высших животных могут быть обнаружены по меньшей мере зачатки той разумной деятельности, которая отличает поведение человека.

На поиски этих зачатков разумной деятельности животных толкала теория Дарвина. Из данных сравнительной анатомии и сравнительной физиологии с совершенной достоверностью установлено, что человекообразные обезьяны являются нашими ближайшими родственниками в эволюционном ряду. Оставалось, однако, до последнего времени не заполненным одно звено в эволюционной цепи, связывающее человека с животным миром, именно звено психологическое. Но до самого последнего времени психологам не удавалось показать, что поведение обезьяны стоит в таком же отношении к поведению человека, в каком ее анатомия стоит к человеческой. Кёлер и задался целью заполнить это недостающее психологическое звено теории Дарвина и показать, что психическое развитие шло тем же эволюционным путем, от высших животных к человеку, как и развитие органическое.

Основу опытов Кёлера образуют три главные операции, которые должны проделать животные, для того чтобы решить поставленную перед ними задачу. Первое условие решения задачи заключалось в том, что животное должно найти *обходные пути* к достижению цели тогда, когда на прямых путях решение задачи почему-либо было невозможным. Второе условие заключалось в обходе или устранении *препятствий*, которые встречались по пути к цели. И наконец, третье условие состояло в употреблении или изобретении *орудия* в качестве средства для достижения цели, которая без его помощи не могла быть достигнута. В некоторых наиболее сложных опытах два условия, иногда даже все три, комбинировались вместе в одной задаче.

Эти исследования показали, что шимпанзе способен употреблять простейшие орудия и с их помощью решать задачу, поставленную перед ним. Если перед решеткой клетки, в которой находится шимпанзе, положен плод (банан) настолько далеко, что обезьяна не может его достать руками, а в клетке находится палка, обезьяна поступает так же, как поступил бы человек, т. е. приближает к себе плод с помощью палки. Когда палка оказывается слишком короткой для этой цели, обезьяна с помощью этой короткой палки достает более длинную, ле-

жащую вне клетки, и с помощью этой второй завладевает плодом.

Самая умная из обезьян, которых наблюдал Кёлер, по имени Султан, очутилась однажды в таком положении, когда в клетке оказалось два куса тростника, оба слишком короткие для того, чтобы с их помощью можно было достать плод. В этой ситуации шимпанзе берет обе палки, прикладывает их одну к другой так, чтобы они находили частью одна на другую, затем обхватывает место соединения обеих палок кистью руки, как пряжкой, и пытается такой удлиненной палкой достать плод. Неправильное положение руки, держащей эту удлиненную палку не за конец, а за середину (в месте соединения двух палок), мешает обезьяне достигнуть цели.

Султан пытался решить задачу таким образом в продолжение долгого времени. Отойдя, наконец, от решетки, он взял с собой обе тростины, уселся вдали, вертел их, играя, пока один конец палки не попал в отверстие другой и не застрял там. Султан тотчас же подошел с удлиненной палкой к решетке и приблизил к себе плод. С этой поры шимпанзе всегда выходил легко из подобного положения. Когда было нужно, он втыкал три куса тростника один в другой, заострял конец зубами, если тот не входил в отверстие другой палки, изготавливая себе таким способом удлиненную палку, которую потом совершенно верно применял.

Сходные задачи возникают перед животными тогда, когда плод подвешен так высоко, что обезьяна не может его достать с полу. Обезьяна в этом случае употребляет ящик в качестве подставки, с помощью которой она пытается овладеть бананом. Если одного ящика оказывается мало, обезьяна громоздит два, три и больше ящиков друг на друга и по такой лестнице забирается наверх, чтобы завладеть целью. Иногда палка приходит на помощь обезьяне в той же ситуации. Если, взобравшись на лестницу, обезьяна все же не может руками дотянуться до банана, она берет в руки палку и сбивает ею плод.

Иногда обезьяна обходится при этом без лестницы вовсе. Обезьяны на станции Кёлера часто употребляли шест, который они ставили перпендикулярно к земле, моментально взбирались по шесту вверх и раньше, чем палка успеет упасть, спрыгивали на землю или на какое-нибудь высоко расположенное место. Этот прием, который



обезьяны часто применяли в своей игре, служил так же часто средством для завладения высоко подвешенной целью.

Наибольшую трудность для животных представляли такие задачи, в которых животному для достижения цели приходилось вначале толкать плод от себя, вместо того чтобы приближать его к себе. Например, в одном из опытов перед решеткой клетки, в которой находится обезьяна и в которой лежит палка, поставлен открытый ящик с тремя стенками. В ящике лежит плод, который обезьяна может видеть, но которым не может завладеть руками. Животное, пользуясь палкой, должно сначала двигать плод от себя, выкатить его из ящика, покатить в сторону и только после этого оно может достать плод руками. Только один, самый умный шимпанзе решил эту трудную задачу. Для всех остальных животных требуемый задачей обходный путь оказался слишком трудным: вместо того, чтобы приближать при помощи палки плод к себе, как это обезьяны делали обычно в этих опытах и как это подсказывается непосредственным импульсом к овладению, в данном случае от животного требовалось двигать плод от себя, действовать как раз в противоположном направлении.

Мы не станем подробно останавливаться на других опытах и на психологическом толковании тех, которые были приведены до сих пор, укажем только, что главное и важнейшее значение опытов Кёлера, основной вывод, который ему удалось сделать, заключается в установлении того, что человекоподобные обезьяны не только в отношении своей анатомии и физиологии стоят близко к человеку, но также и в психологическом отношении являются ближайшими родственниками человека.

Таким образом, исследования Кёлера приводят впервые к фактическому обоснованию дарвинизма в психологии в самом критическом, важном и трудном пункте. Можно сказать без всякого преувеличения, что этими исследованиями впервые было дано точное фактическое обоснование и подтверждение эволюционной теории в области развития высшего поведения человека. Вместе с тем они преодолели и тот разрыв между поведением человека и животного, который создан в теории благодаря работам Торндайка; они перекинули мост через бездну, разделявшую разумное и неразумное поведение;

они показали ту с точки зрения дарвинизма несомненную истину, что зачатки интеллекта, зачатки разумной деятельности человека заложены уже в животном мире.

Чрезвычайный интерес представляет сопоставление этих психологических открытий с теоретическим взглядом исторического материализма на возникновение употребления орудий у человека. Маркс говорил, что употребление и создание орудий свойственно в зародышевой форме некоторым видам животных, но что оно составляет специфическую, характерную черту человеческого процесса труда.

«Поскольку человек становится животным, производящим орудия, — говорит Плеханов, — он вступает в новую фазу своего развития, его зоологическое развитие заканчивается и начинается его исторический жизненный путь». «Ясно, как день, — говорит он далее, — что применение орудий, как бы они ни были несовершенны, предполагает опромное развитие умственных способностей. Много воды утекло прежде, чем наши обезьяноподобные предки достигли такой степени развития духа. Каким образом они достигли этого? Об этом нам следует спросить не историю, а зоологию. Как бы там ни было, но зоология передает истории homo (человека), уже обладающего способностями изобретать и употреблять наиболее примитивные орудия».

Мы видим, таким образом, со всей ясностью, что способность к изобретению и употреблению орудий является *предпосылкой* исторического развития человека и возникает еще в зоологический период развития наших предков.

Однако в этих же наблюдениях Кёлера было обнаружено не только сходство в поведении обезьяны с поведением человека в аналогичной ситуации, но и те принципиальные различия, которые существуют между употреблением орудий в животном мире и у человека. Кёлер в течение целого ряда лет наблюдал применение орудий у обезьян. Эти наблюдения приводят к выводу, что между употреблением орудий шимпанзе и человеком существует качественное, принципиальное различие.

Мы приведем простой пример, который, как нельзя лучше, показывает, что в биологическом приспособлении высших обезьян орудия играют еще ничтожную роль. Обезьяны часто пользуются палкой, как оружием, но по

большой части они применяют это оружие только в «военных» играх. Обезьяна берет палку, угрожающе подходит к другой, колет ее. Противник также вооружается палкой, и перед нами разворачивается «военная» игра шимпанзе. Но если, говорит Кёлер, при этом случится недоразумение и игра переходит в серьезную драку, оружие сейчас же бросается на землю, и обезьяны нападают друг на друга ногами, руками и зубами. Темп позволяет различить игру от серьезной драки. Если обезьяна медлит и неловко размахивает палкой, она играет, если же дело становится серьезным, шимпанзе, как молния, набрасывается на противника, и ни у той, ни у другой не остается времени, чтобы применить палку.

Как известно, Дарвин возражал против того мнения, согласно которому только человек способен к употреблению орудий. Он показывает, что многие млекопитающие в зачаточном виде обнаруживают эту же самую способность. Так, шимпанзе употребляет камень для того, чтобы раздробить плод, имеющий твердую скорлупу. Слоны обламывают сучья деревьев и пользуются ими для того, чтобы отгонять мух.

«Он, разумеется, совершенно прав с своей точки зрения, — говорит об этом мнении Дарвина Плеханов, — т. е. в том смысле, что в пресловутой природе человека нет ни одной черты, которая бы не встречалась у того или другого вида животных, и что поэтому нет решительно никакого основания считать человека каким-то особым существом, выделять его в особое царство. Но не надо забывать, что количественные различия переходят в качественные: то, что существует, как зачаток, у одного животного вида, может стать отличительным признаком другого вида животных. Это в особенности приходится сказать об употреблении орудий. Слоны ломают ветви и отмахиваются ими от мух — это интересно и поучительно, но в истории развития вида «слон» употребление веток слонем в борьбе с мухами не сыграло никакой существенной роли. Слоны не потому стали слонами, что их более или менее слоноподобные предки обмахивались ветками. Не то с человеком. Все существование австралийского дикаря зависит от его бумеранга, как все существование современной Англии зависит от ее машин. Отнимите у австралийца его бумеранг, сделайте его земледельцем, и он по необходимости изменит весь свой

образ жизни, все свои привычки, весь свой образ мыслей, всю свою природу».

Нам думается, что это мнение находит полное фактическое подтверждение в наблюдениях Кёлера. В истории развития и в приспособлении высших обезьян употребление орудий также играет еще ничтожную роль. Оно не определяет, в основном, всего приспособления шимпанзе, в то время как употребление орудий является отличительным признаком, стоящим в самом начале человеческой истории и определяющим все своеобразие исторического развития человечества. Энгельс, приписывая труду решающую роль в процессе очеловечения обезьяны, говорит, что труд создал самого человека. Но вместе с тем Энгельс с большой тщательностью старается проследить *предпосылки*, которые могли привести к возникновению трудовой деятельности. К числу таких предпосылок относится употребление орудий шимпанзе.

Наблюдения Кёлера показали другой, чрезвычайно любопытный факт в отношении человекоподобных обезьян. Наряду с наличием употребления орудий, хотя и в зародышевой форме, мы находим у обезьян также в зародышевой форме начатки речевой деятельности. Однако эти начатки речевой деятельности стоят в ином отношении к человеческой речи, чем начатки употребления орудий. В качестве общего вывода можно сказать, что у высших обезьян наблюдаются зачаточные формы употребления орудий и не могут быть констатированы самые зародышевые формы *человекоподобной* речи.

Кёлер пишет о речи шимпанзе, которых он наблюдал в течение нескольких лет на антропоидной станции на острове Тенерифе: «Их фонетические проявления без всякого исключения выражают только их стремления и субъективные состояния. Следовательно, это — эмоциональные выражения, но никогда не знак чего-то объективного». Однако в фонетике шимпанзе мы находим такое большое количество звуковых элементов, сходных с человеческой фонетикой, что можно с уверенностью предположить, как и делает Кёлер, что отсутствие человекоподобного языка у шимпанзе объясняется не периферическими причинами, т. е. причиной этого надо считать не недоразвитие речедвигательного аппарата — гортани, голосовых связок, языка и т. д., а причина заложена в интеллекте самой обезьяны. Жесты, мимика обе-

зьяны, говорит по поводу этих наблюдений Делакура, уже, конечно, не по причинам периферическим не отражают ни малейшего следа того, чтобы обезьяны с их помощью выражали нечто объективное, т. е. чтобы они выполняли функцию знака.

Шимпанзе — в высшей степени общественное животное, его поведение можно по-настоящему понять только тогда, когда он находится вместе с другими животными. Кёлер описал чрезвычайно разнообразные формы общения между шимпанзе. На первом месте должны быть поставлены эмоционально выразительные движения, очень яркие и богатые у шимпанзе, как мимика, жесты, звуковые реакции. Далее идут выразительные движения социальных эмоций — жесты приветствия и т. д. Но и жесты их, говорит Кёлер, как и их выразительные звуки, никогда не обозначают и не описывают чего-либо объективного.

Животные прекрасно понимают мимику и жесты друг друга. При помощи жестов они выражают не только свои эмоциональные состояния, говорит Кёлер, но и желания, побуждения, направленные на других обезьян или на другие предметы. Самый распространенный способ в таких случаях состоит в том, что шимпанзе начинает производить то движение или действие, к которому хочет побудить другое животное (подталкивание другого животного и начальные движения ходьбы, когда шимпанзе зовет его идти с собой; хватательные движения, когда обезьяна хочет получить у другой банан и т. д.). Все это жесты, непосредственно связанные с самим действием.

Шимпанзе, которых наблюдал Кёлер, играя, рисовали цветной глиной, пользуясь сперва губами и языком, как кистью, а после и настоящей кистью, но никогда эти животные, которые всегда, как правило, переносили в игру приемы поведения (употребление орудий), выработанные ими в серьезных ситуациях (экспериментах), и, наоборот, игровые приемы в жизнь, никогда они не обнаруживали ни малейшего следа создания знака при рисовании.

«Насколько мы знаем, — говорит Бюлер, — совершенно невероятно, чтобы шимпанзе когда-либо видел графический знак в пятне. Есть факты, предостерегающие от переоценки действий шимпанзе». К числу этих фактов он относит отсутствие всяких царапин на песчанике или глине, которые можно было бы принять за изображаю-

щий что-то рисунок, отсутствие всякого изображающего языка, т. е. звуков, равноценных названиям. «Все это вместе взятое должно иметь свои внутренние основания», — заключает автор.

Иеркс, кажется, единственный из исследователей человекоподобных обезьян, который видит причину отсутствия человекоподобного языка у шимпанзе не во внутренних основаниях. Его исследования интеллекта оранга, о которых мы уже упоминали, привели его, в общем, к результатам, очень сходным с данными Кёлера. Однако в толковании этих результатов он пошел гораздо дальше. Он считает, что у оранга можно констатировать «высшую идеацию» (мышление с помощью представлений или понятий), правда, не превосходящую мышления трехлетнего ребенка.

Это допущение, как показывает тщательный анализ, не встречает фактических подтверждений. Можно было бы привести десятки экспериментальных данных, говорящих против такого допущения. Однако, опираясь на это свое допущение, Иеркс задался целью исследовать, нельзя ли искусственно воспитать у обезьян человекоподобную речь. Его исследования в этой области дают и новый фактический материал, и новую, чрезвычайно смелую попытку объяснить отсутствие человекоподобной речи у шимпанзе.

«Голосовые реакции, — говорит этот автор, — весьма часты и разнообразны у молодых шимпанзе, но речь в человеческом смысле слова отсутствует. Их голосовой аппарат развит и функционирует не хуже человеческого. Но у них отсутствует тенденция имитировать звуки. Их подражание ограничено почти исключительно областью зрительных стимулов, они подражают действиям, но не звукам. Они не способны сделать то, что с таким успехом делает попугай. Если бы имитативная тенденция попугая соединилась с интеллектом того качества, который свойствен шимпанзе, последний, несомненно, обладал бы речью, ибо он обладает голосовым механизмом, который можно сравнить с человеческим, а также тем типом и той степенью интеллекта, с помощью которого он был бы вполне способен действительно использовать звуки для цели речи».

Иеркс экспериментально использовал четыре метода, для того чтобы обучить шимпанзе человеческому упо-

треблению звуков, или, как он говорит сам, речи. *Все эти эксперименты привели к отрицательному результату.* Каковы же причины этого? Недоразвитие голосового аппарата, бедность фонетики, как показывают эксперименты и наблюдения сотрудницы Иеркса Лёрнед, исключаются. Сам Иеркс видит причину в отсутствии или слабости слуховой имитации (подражания звукам). Иеркс, конечно, прав в том, что отсутствие слухового подражания может явиться *ближайшей причиной* неудачи его опытов, но едва ли прав в том, что видит в этом основную причину отсутствия речи.

Где объективные основания для утверждения, что интеллект шимпанзе есть интеллект того типа и той степени, которые необходимы для создания человекоподобной речи? У Иеркса был превосходный экспериментальный способ проверить и доказать свое положение, способ, которым он почему-то не воспользовался и к которому мы прибегли бы с величайшей готовностью для экспериментального решения вопроса, если бы к тому представилась внешняя возможность в Сухумском питомнике.

Способ этот заключается в том, чтобы исключить влияние слухового подражания в эксперименте с обучением шимпанзе речи. Речь вовсе не встречается исключительно в звуковой форме. Глухонемые создали зрительную речь и пользуются ею. Также обучают глухонемых детей понимать нашу речь, считывая с губ, т. е. по движениям. Быть может, можно шимпанзе научить употреблять пальцы, как это делают глухонемые, т. е. научить их языку знаков. Такие эксперименты не были проделаны, и мы не можем с уверенностью предсказать, к чему бы они привели. Но все, что мы знаем о поведении шимпанзе, в том числе и из опытов Иеркса, не дает ни малейшего основания ожидать, что шимпанзе действительно владеет речью в собственном смысле этого слова.

Чрезвычайно большое значение имеет тот подчеркнутый Бюлером факт, что *действия шимпанзе совершенно независимы от речи.* Его употребление орудий ни в какой степени не напоминает человеческое речевое мышление. В самое последнее время были опубликованы чрезвычайно интересные систематические исследования двух французских авторов — Гильома и Меерсона относительно употребления орудий у обезьян. Мы не станем

подробно описывать эти чрезвычайно поучительные опыты, укажем только на общие выводы, к которым приводят эти исследования.

Эти исследования показывают, что *поведение обезьяны при употреблении орудий обнаруживает принципиальное психологическое сходство с действиями человека, страдающего афазией, т. е. нарушением или выпадением речи.* Поведение обезьяны, как это показали уже и опыты Кёлера, больше всего определяется непосредственной зрительной ситуацией, структурой зрительного поля. Поэтому все то, что требует таких действий со стороны обезьяны, которые не определяются непосредственно этой структурой и ее наглядными моментами, оказывается для обезьяны недоступным.

Исследования над практическими действиями у человека, страдающего афазией, показали, что эти люди способны выполнять прямые действия, непосредственно вытекающие из наглядной ситуации, но не способны часто представить и выполнить такие операции, которые заключают в себе некоторое отклонение от непосредственно данных впечатлений. Они не способны к выполнению комбинированных сложных действий; они не способны поставить перед собой цель или представить себе идеальное местоположение предмета в результате какого-нибудь действия. Всякое сложное действие, требующее обходного пути, оказывается для такого больного затруднительным. И хотя операции, недоступные этим людям, как, например, игра на бильярде, неизмеримо более сложны по сравнению с теми обходными путями, которые выполняют обезьяны, но природа тех трудностей, отмечают авторы, которые мешают ясно воспринимать структуру ситуации, кажется аналогичной: в одном и другом случае отсутствует или нарушена способность зрительного охвата в целом; значение ситуации в целом отсутствует. О некоторых больных, страдающих афазией, говорили, что они не умеют читать формы в пространстве. Нечто аналогичное находим мы и у наших обезьян.

Эти исследования замыкают, таким образом, круг и снова, благодаря более углубленному исследованию операции употребления орудий у животных, показывают, что те формы интеллектуальной деятельности, которые проявляет шимпанзе при употреблении орудий, могут быть сближены с *формами человеческого доречевого интел-*



лекта. Опыты Бюлера показали, что у ребенка примерно в 10—12 месяцев наблюдаются первые простейшие формы примитивных изобретений, употребления орудий, применения обходных путей, настолько напоминающие соответствующие действия шимпанзе, что Бюлер предложил весь этот возраст первого появления начатков практического мышления у ребенка назвать шимпанзеподобным возрастом.

Мы видим, таким образом, что только ребенок до появления речи и афазик, т. е. человек, потерявший речь, спускаются в своих практических действиях до той степени, на которой стоит человекоподобная обезьяна. В этом, думается нам, и содержится ответ на тот вопрос, который ставит Кёлер в связи со своими опытами.

Он говорит, что поведение обезьян существенно отличается от поведения самого примитивного человека в смысле отсутствия у обезьяны даже малейших начатков культурного развития. Кёлер ставит, далее, вопрос относительно того, насколько может поведение шимпанзе быть направлено на будущее. Решение этого вопроса кажется ему важным по следующим причинам. Большое число самых различных наблюдений над антропоидами обнаруживает явления, которые обычно наблюдаются только у существ, обладающих некоторой культурой, хотя бы и самой примитивной. Если же шимпанзе не имеют ничего, заслуживающего названия культуры, возникает вопрос, что является причиной ограниченности их в этом отношении. Даже самый примитивный человек подготавливает свою палку для копания, несмотря на то что он не отправляется тотчас же копать и несмотря на то что внешние условия для употребления орудия отсутствуют.

Даже самый примитивный человек, следовательно, обладает известной степенью свободы, т. е. независимости от непосредственной потребности и непосредственного воздействия ситуации, в своих практических действиях. И самый факт приготовления орудия для будущего, по мнению Кёлера, связан с возникновением культуры. Поэтому он с полным основанием указывает не только на моменты, обуславливающие сходство между шимпанзе и человеком, но также указывает и на глубокое различие между обезьяной и человеком, на границы, отделяющие самую высокоразвитую обезьяну от самого примитивного человека.

По мнению Кёлера, отсутствие языка, этого важнейшего вспомогательного средства мышления, является одной из этих основных причин. Другие данные, не относящиеся к опытам Кёлера, дают основание предполагать, что только вместе с появлением речи возникает та относительная свобода, о которой мы говорили как об отличительном признаке самого примитивного человека.

Другую причину отсутствия культуры у обезьян Кёлер видит в ограниченности представлений шимпанзе, в ограниченности их жизни во времени, в неспособности определять свои действия не наличными раздражениями, а только мыслимыми.

Но отсутствие речи и ограничение жизни во времени, в сущности, не объясняют ничего в том вопросе, который ставит Кёлер, ибо сами нуждаются в объяснении. Отсутствие речи потому не может рассматриваться как причина отсутствия культурного развития человекоподобных обезьян, что само составляет часть этого общего явления. Причиной в настоящем смысле является различие в типе приспособления. Труд, как показал Энгельс, сыграл решающую роль в процессе превращения обезьяны в человека; «труд создал самого человека»—и человеческую речь, и человеческую культуру, человеческое мышление, и человеческую жизнь во времени.

## ОБЩАЯ СХЕМА РАЗВИТИЯ ПОВЕДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ

Таким образом, исследования разума животных, составляющие главнейшее завоевание новой психологии, вносят, наконец, ясность в длившийся столетиями спор и создают впервые возможность научного разрешения вопроса о развитии поведения животных. Мы можем теперь изложить в схематическом виде общее направление развития поведения в животном ряду, наметить общую схему эволюции поведения. Мы видели уже, что ошибка Дарвина, которая привела его и особенно его учеников к антропоморфизму и вместе с ним к отрицанию самой идеи эволюции, заключалась в том, что, верно объяснив инстинкты животных и их происхождение, Дарвин поставил в

один ряд с этими инстинктами и все другие формы поведения, не учитывая качественного своеобразия высших форм поведения по сравнению с инстинктами.

Дарвин объяснил происхождение видовых, наследственных, врожденных способов поведения. В самом начале XX в. в школе академика Павлова были сделаны первые и важнейшие открытия основных законов высшей нервной деятельности, показавших механизм образования условных рефлексов, т. е. способ надстраивания индивидуально приобретенного собственного опыта животного над его инстинктивной, или рефлекторной деятельностью. Если Дарвин открыл происхождение видов, то Павлов открыл происхождение индивидов. Это открытие показало, что различные животные имеют не только различным образом организованные инстинкты или наследственные способы поведения, но что в зависимости от развития нервной системы и, в частности, от развития коры головного мозга, они имеют совершенно разные возможности в смысле самовоспитания, в смысле приобретения новых способов поведения.

Нам кажется поэтому совершенно несправедливым замечание Д. Н. Кашкарова, говорящего, что с помощью метода условных рефлексов нельзя построить сравнительную психологию, так как он будто бы не применим к низшим животным, у которых не могут быть выработаны условные рефлексы. Напротив, мы думаем, что именно в этом и заключается важнейшая услуга, которую метод условных рефлексов может оказать сравнительной психологии. Он может объективно установить, где в животном ряду начинается обучаемость, где возникает образование условного рефлекса, как он развивается и как эволюция этой способности, несомненно, теснейшим образом связанная с эволюцией психики, движется вместе с развитием нового мозга.

Учение Павлова позволило наряду с открытием Дарвина относительно происхождения инстинктов различить две основные ступени в эволюции поведения животных: ступень инстинктов, или наследственных, врожденных способов поведения, и ступень навыка, дрессуры или условных рефлексов, т. е. тех форм поведения, которые лежат в основе индивидуального приспособления животного. Мы не станем сейчас подробно останавливаться ни на механизме возникновения условных рефлексов и об-

щих законах их деятельности, ни на рассмотрении их биологических функций: и то и другое широко известно и не нуждается сейчас в рассмотрении. Мы хотим обратить внимание только на некоторые моменты, могущие иметь значение в связи с дальнейшим.

Вопрос, который заслуживает специального выделения, заключается в той связи и в том разрыве, которые одновременно обнаруживаются между условным рефлексом и его безусловной основой, между навыком и инстинктом, т. е. между второй и первой ступенями поведения. Этот момент, теоретическое значение которого недостаточно оценено, позволяет нам предугадать в общих чертах общее генетическое отношение, которое должно существовать между всякими двумя преемственно связанными последовательными ступенями в развитии поведения.

Своеобразие этой связи заключается в том, что всякий навык, всякий условный рефлекс строится не иначе, как на инстинктивной основе. Инстинкт, таким образом, не уничтожается в условном рефлексе, высшая ступень не отменяет низшую; врожденный способ поведения модифицируется, изменяется, входит в качестве подчиненной инстанции, как снятая категория, в высшую ступень, в которой он содержится в свернутом виде.

Но вместе с тем новая форма поведения, надстраиваясь над старой, подчиняется уже таким закономерностям, которых мы не находим в царстве инстинктов. Поведение приобрело новую форму движения; ее состав, строение, способ деятельности, развитие и распад — все это имеет свою собственную судьбу, свою собственную логику, которая не может быть чисто формальным путем дедуктивно выведена из соответствующих моментов низших форм деятельности, над которыми она надстраивается. Мы видим, таким образом, что вторая ступень в развитии поведения одновременно связана и разорвана с первой.

Нечто аналогичное находим мы и в отношении второй ступени с третьей, несмотря на то что у большинства исследователей не хватает логической последовательности и смелости для того, чтобы признать, что эволюция поведения в животном ряду не остановилась на уровне второй ступени, но пошла дальше. Эту третью ступень в развитии поведения образует интеллект, биологической

функцией которого является приспособление к новым условиям среды, выработка ответов на ситуацию, которая не встречалась в прежнем опыте. Типичным представителем этой третьей ступени в развитии поведения является упомянутое нами выше употребление и изобретение орудий у человекоподобных обезьян.

Если мы рассмотрим эту третью ступень в развитии поведения и сравним ее со второй ступенью, мы убедимся, что здесь обнаруживается снова тот же диалектический закон связи и разрыва, единства и отрицания, как и в отношении всякой предшествующей и последующей ступени в развитии. Интеллектуальная реакция представляет по сравнению с простым навыком новую форму движения, подчиненную своим особым закономерностям. Мы могли бы повторить в этом отношении точно то же, что нами было только что сказано относительно условного рефлекса сравнительно с инстинктом. Ее состав, ее строение, ее способ деятельности, ее развитие и распад обнаруживают новые закономерности, которые не могут быть непосредственно выведены из закономерностей, известных нам в отношении тех же моментов при условном рефлексе.

И вместе с тем внимательный анализ этой новой формы поведения показывает, что она надстраивается над второй ступенью в развитии поведения совершенно так же, как условный рефлекс надстраивается над инстинктом. Условные рефлексы продолжают существовать и действовать в качестве подчиненной инстанции в сложном составе интеллектуальной операции. Но они являются по отношению к этой последней такой же снятой категорией, как инстинкт по отношению к условному рефлексу.

Мы могли бы пояснить это своеобразное отношение между навыком и интеллектом в развитии поведения животных с помощью двух простейших примеров.

Первый пример мы заимствуем из области развития поведения ребенка, так как здесь это функциональное отношение обнаруживается чрезвычайно просто. Представим себе, что мы в каком-нибудь школьном классе предлагаем учащимся решить задачу, требующую применения четырех арифметических действий в пределах первой тысячи, и предварительно убеждаемся путем проверки в том, что все наши учащиеся вполне овладели навыками

в оперировании четырьмя действиями арифметики в пределах тысячи. Само собой разумеется, что, если найдутся среди нашего класса такие ученики, которые не владеют соответствующими навыками, решение задачи для них станет в силу этого одного невозможным.

Интеллектуальная операция, требуемая решением задачи, может возникнуть не иначе, как на основе прежде выработанных и установившихся навыков, но, однако, наличие этих навыков еще не обеспечивает полностью появление интеллектуальной операции. Опыт показывает, что и те ученики, которые владеют необходимыми навыками, *не все* решат предложенную задачу. Если мы сравним затем решение этой задачи у одних и других учеников, мы увидим, что каждая из составных операций, входящих в состав решения задачи, будучи взята в отдельности, совершенно осуществима для каждого из учеников нашего класса. Но та новая комбинация этих навыков, которая соответствует структуре задачи, та приспособительная функция, которую должен проявить интеллект в создании новой конфигурации этих выработанных навыков в соответствии с условиями и целью задачи, оказывается для многих из наших испытуемых неосуществимой.

То, что мы видим в данном примере — отношение операции решения задачи к арифметическим навыкам, — всецело совпадает с более общим отношением всякой интеллектуальной операции ко всяким навыкам, входящим в ее состав.

Второй пример мы можем заимствовать из области исследования над обезьянами. С полным основанием, думается нам, К. Бюлер и другие авторы указывают на то, что употребление орудий у обезьян опирается на их прежний опыт. Как образно говорит К. Бюлер, если мы сравним ситуацию, в которой находится обезьяна при эксперименте, с той ситуацией, которая встречается в естественной жизни обезьяны в лесу, мы увидим, что это участие предыдущего опыта в решении новых задач чрезвычайно значительно. Обезьяне очень часто приходится в лесу действовать веткой, для того чтобы завладеть висящим на ее конце плодом. Теперь обезьяна помещена в клетку: плод без ветки находится за решеткой; ветка без плода лежит в клетке. Вся задача заключается в том, чтобы воссоединить в новой ситуа-

ции то, что неоднократно уже встречалось в прежнем опыте.

Прослеживая шаг за шагом все интеллектуальные операции обезьяны и сравнивая их с прежним опытом обезьяны в естественной обстановке, мы можем указать, что все удачи и неудачи животного строго обусловлены его прежним опытом. Интеллектуальная операция, как бы она проста ни казалась человеческому уму, не удается у обезьяны, если предшествующий опыт животного не подготовил соответствующих навыков, на основе которых только и может возникнуть интеллектуальное действие. Например, животные, прекрасно справляющиеся с палкой, оказываются совершенно беспомощными в удалении простейших препятствий, встречающихся на их пути. К. Бюлер справедливо объясняет это условиями жизни обезьян в лесу. Лазающему животному, говорит он, вряд ли когда придется в естественной обстановке встречаться с препятствиями и выработать необходимый опыт в деле их устранения.

Рассматривая таким образом самые сложные формы поведения обезьяны, мы видим, что эти формы складываются в конечном счете из прежних навыков, сложившихся в опыте обезьяны, точно так же, как решение задачи школьником складывается из ряда механически усвоенных им прежде операций над числами. Но, подобно тому как решение задачи не есть просто механическое чередование или соединение отдельных операций, а является новой и специфической комбинацией их, так точно и действие обезьяны не может быть сведено к простой сумме навыков, но представляет собой новое и специфическое психологическое образование по сравнению с этими последними.

Этими тремя ступенями в основном исчерпывается общее направление развития поведения в животном ряду, и нам остается только показать, что это развитие поведения строго соответствует основным закономерностям в развитии мозга. Мы не станем сейчас останавливаться даже схематически на эволюции мозга в процессе биологического развития, но мы постараемся вскрыть основные закономерности в последовательной смене различных ступеней этой эволюции и сравнить их с соответствующими закономерностями в развитии поведения животных.

Эдинггер, один из лучших знатоков сравнительной истории мозга, указывает на то, что развитие центральной нервной системы в животном ряду и развитие поведения шли, по-видимому, рука об руку. Он говорит: «При инстинктах сильно развита особая часть центральной нервной системы, так называемое ромбовидное тело. Мозг позвоночных животных состоит из более старой и более новой составных частей, и изучение всего ряда животных показало, что в принципе весь механизм, начиная с конца спинного мозга и кончая нервами обоняния, к чему относится также первичный мозг, у всех высших и низших позвоночных животных устроен совершенно одинаково, что, следовательно, говорим ли мы о человеке или о рыбе, подкладка всех простейших функций совершенно одинакова для всего ряда. Начиная с пресмыкающихся к первичному мозгу прибавляются новые доли мозга как новый аппарат, увеличивающийся с такой силой, что, наконец, у человека, он, как плащ, покрывает весь первоначальный мозг».

Но гораздо интереснее, чем эти простейшие анатомические данные, те функциональные зависимости, которые возникают между древними и новыми частями мозга. Как показывает исследование, развитие мозга шло путем надстраивания новых и новых этажей над древним мозгом. Именно в силу этого новые этажи надстраивались над старой подкладкой, по выражению Эдинггера, и в силу этого подкладка низших функций оказывается у человека и у рыбы совершенно одинаковой.

Однако было бы большой ошибкой представлять себе эту историю развития мозга, состоящую в надстраивании все новых и новых этажей центральной нервной системы, в виде действительно механического надстраивания, оставляющего в неизменном виде низшие, более древние инстанции. Мы сейчас увидим, что те самые двойственные зависимости (связь и разрыв) между последовательными ступенями в развитии поведения, которые мы описали выше, существуют и как основные зависимости между различными этажами в построении мозга.

Эти основные законы, как их формулирует Э. Кречмер, могут быть сведены к четырем основным положениям.



Первая закономерность состоит в сохранении в виде отдельных ступеней низших центров. Низшие, более старые в истории развития центры и соответствующие им дуги действия не просто отходят в сторону с постепенным образованием высших центров, но они работают, далее, в общем союзе как подчиненная инстанция под управлением высших, в истории развития более молодых, так что при неповрежденной нервной системе обычно их нельзя определить отдельно.

Но вторая закономерность, которую мы можем обозначить, как переход функций вверх, состоит в том, что эти подчиненные центры не удерживают своего первоначального в истории развития типа функционирования полностью, но они передают существенную часть своих прежних функций вверх новым, над ними надстраивающимся центрам. Мы знаем, что спинальная лягушка, лишенная головного мозга, может выполнять еще очень сложные и целесообразные действия, например рефлекс потирания. Часть таких древних функций у человека уже совершенно перешла на головной мозг, специально на кору большого мозга, и при перерыве соединения не может более осуществляться спинным мозгом, который у человека, как изолированное действенное тело, функционирует только примитивно и фрагментарно.

Мы видим, что древняя примитивная функция начинает действовать в составе более сложных новых систем и поэтому лишается своей самостоятельности. Вот почему возникает парадоксальное явление, неоднократно изумлявшее исследователей. Низшие этажи мозга оказываются у человека гораздо менее дееспособными, чем у животных. Спинной мозг лягушки действует лучше, чем человеческий спинной мозг, именно в силу того, что человеческий спинной мозг действует в составе нового целого и лишился в процессе развития своих прежних функций. Вот почему человек без головного мозга гораздо менее дееспособен, чем собака или лягушка без такого мозга. Эдингер описал интересного ребенка без мозга, который прожил  $3\frac{3}{4}$  года. Его жизненные проявления ограничивались простыми рефлексам.

С историей развития мозга связано и другое парадоксальное явление, заключающееся в том, что человеческий ребенок рождается на свет гораздо более беспомощным и менее зрелым, чем детеныш низших животных.

Цыпленок, как только вылупливается из яйца, сейчас же обнаруживает способность ходить и клевать зерно. Щенок гораздо быстрее проходит путь овладения своими функциями, и только человеческий ребенок в продолжение целого года оказывается совершенно беспомощным в смысле простейших двигательных функций (ходьба, стояние, передвижение). Это опять-таки связано с тем, что низшие мозговые центры у человека утратили свою самостоятельность, которую они сохраняют еще у животных. Трудно найти более яркое доказательство того качественного изменения функций низших этажей при надстраивании высших, о котором мы говорим все время.

Мы видим, таким образом, что подобно тому как инстинкт изменяется и продолжает в измененном виде существовать внутри рефлекса, действуя в этом новом целом по другим законам, нежели его собственные законы; подобно тому, как условный рефлекс продолжает существовать в интеллектуальной операции, подчиняясь ее общим законам, — подобно этому всякий низший центр не отходит просто в сторону с возникновением высшего, но продолжает существовать внутри него, лишившись части своих функций, приобретая новые, т. е. перестроившись сообразно построению того целого, в которое он теперь входит составной частью.

Третья важнейшая закономерность, позволяющая нам проверить две прежние, заключается в эмансипации низших центров в специальных условиях, состоящей в том, что если высшие центры функционально слабы или отделены от подчиненных центров, например, благодаря шоку, заболеванию, повреждению, то общая функция нервного аппарата не просто прекращается, но подчиненная инстанция становится самостоятельной и показывает нам элементы своего древнего типа функционирования, которые остались у нее.

Мы видим это как в отношении рефлексов примитивного рода, возникающих у человека при поражении высших центров, так и в таких заболеваниях, как истерия и шизофрения, когда при нарушении высших психических функций часто появляются на поверхности низшие с точки зрения истории развития психомоторные способы функционирования, принимающие на себя руководство, способы, которые мы обозначаем как гипобулические

механизмы, как нижний слой высших процессов, говорит Э. Кречмер. Этот общий нейробиологический закон по отношению к учению об истерии был сформулирован Э. Кречмером в следующем виде: «Если внутри психомоторной сферы действие высших инстанций становится слабым функционально, то делается самостоятельной ближайшая низшая инстанция со своими собственными примитивными законами».

Наконец, четвертой и последней закономерностью, которая с точки зрения развития мозга соответствует истории развития поведения, является самостоятельность высших мозговых синтезов.

Этот закон заключается в том, что всякая возникающая в истории родового или индивидуального развития новая сложная форма, в состав которой входит множество более простых форм, обнаруживает самостоятельный синтез, обладающий своими особенностями, закономерностями движения, построения и действия, своей особой судьбой.

«Этот закон, — говорит Кречмер, — одинаково приложим как к самым низшим формам объединения отдельных нервных функций, так и к самым высшим, примером которых может служить понятие. Всегда мы наталкиваемся на тот же самый принцип: из несвязной серии физиологических частных создается нечто оформленное («звуковой образ слова», «предмет» или в психомоторной области — формула движения), что так же хорошо означает акт соединения сопринадлежащих друг к другу элементов, как акт разделения несопринадлежащих. Это сведение в порядок имеющих место в физиологии мозга отдельных актов в формулообразные, соединенные с сознанием значения связи единства мы называем форменной функцией. Она есть базис, на котором строятся все более высокие психические функции». Это новое целое «представляет собой более чем сумму элементов, из которых оно возникло. Оно психологически в основе нечто новое, совершенно самостоятельное психическое образование, твердое единство, которое в переживании далее совершенно несводимо. Этот закон самостоятельности более высоких синтезов есть основной нейробиологический закон, который может быть прослежен от простейших рефлекторных процессов до образования абстрактов в мышлении и языке».

## ПОВЕДЕНИЕ ЖИВОТНОГО И ЧЕЛОВЕКА

Мы видим, таким образом, что эволюционная теория, приложенная к психологии человека, дает в основном твердую почву для правильного понимания соотношения между поведением животных и поведением человека. Но конкретное приложение этой теории вызвало целый ряд ложных отклонений от ее основного содержания и привело к целому ряду ошибок.

Мы видели уже, что Дарвин поднимал животных до уровня человека и тем самым отказывался сам от им же установленной эволюционной точки зрения. Уже у виноградной улитки находил он в развитом виде те самые качества и свойства, которые мы открываем у человека. Спрашивается, в чем же заключался тогда длинный путь органической эволюции, приведший от виноградной улитки к возникновению человека?

Другая ошибка, которую, как мы видим, проделывают на наших глазах многие неodarвинисты, заключается в том, что поведение человека, напротив, низводится до поведения животного. Поведение человека рассматривается как совокупность навыков, выработанных по методу «проб и ошибок», которые только по степени сложности, но не принципиально, по качеству, отличаются от поведения животного. Эта точка зрения наиболее полно представлена в рефлексологии и бихевиористской психологии.

Третьи исследования, как мы видели, приводят к разрыву между психологией человека и психологией животных и тем нарушают основные правила эволюционной теории. Четвертые, наконец, снова сближая поведение животных и человека более осторожно, чем это делал Дарвин, все же не указывают принципиальной разницы, отличающей человекоподобные действия обезьяны от человеческих действий в собственном смысле этого слова.

Все эти четыре вида трудностей, связанные с приложением эволюционной теории к психологии, не являются случайными. В них находит свое отражение тот основной факт, что проблема «животное — человек» не может быть полностью и без остатка разрешена с помощью эволюционной теории. Эволюционная теория является, таким образом, только предпосылкой к научному построению человеческой психологии, но не может охватить ее в це-

лом. Поведение человека нуждается в рассмотрении еще с другой стороны.

Три пункта представляются нам особенно важными в этом отношении.

Во-первых, и в пределах самой эволюционной теории нельзя игнорировать факта существенных различий, существующих между человеческим организмом и, в частности, человеческим мозгом и мозгом обезьяны. Только наивнодарвинская точка зрения может рассматривать человекоподобных обезьян как прямых предшественников человека. Настоящий анализ показывает, что генетические отношения здесь значительно более сложные. Современные обезьяны представляют собой, по-видимому, только боковые ответвления от линии развития человека, ответвления, зашедшие, по-видимому, в тупик развития, и ни в каком случае не могут рассматриваться как прямые предшественники человека. Человек и обезьяна — это, скорее, различные ветки одного и того же ствола, потомки одних и тех же предков, чем звенья, непосредственно связанные между собой.

Следовательно, уже в эволюционном ряду должны были созреть предпосылки в виде определенного строения организма и центральной нервной системы, которые сформировали человека как определенный животный вид, неизмеримо высоко стоящий по сравнению даже с наиболее близкими к нему видами обезьян. Итак, уже в силу биологической организации тот животный вид, из которого развился впоследствии человек, обладал неизмеримо большими возможностями, чем современная обезьяна.

Второй момент заключается в самом процессе превращения животного в человека. Энгельс подробно рассмотрел процесс очеловечивания обезьяны как в его предпосылках, так и в самом его содержании. В этом анализе Энгельс выдвигает роль труда как основного фактора, приведшего к очеловечиванию обезьяны. «Труд создал самого человека», — формулирует он свою основную мысль. Предпосылкой к возникновению труда явилось изменение образа жизни и обычного способа передвижения, при котором руки выполняют другие функции, чем ноги.

Эти обезьяны постепенно перестали пользоваться руками при передвижении по поверхности земли, стали использовать вертикальную походку. Этим был создан реше-

тельный шаг для перехода от обезьяны к человеку. Эта дифференциация функций рук и ног привела к тому, что рука стала свободной. Рука, таким образом, является не только органом труда, она также и продукт его. Только благодаря труду, благодаря приспособлению к все новым операциям она приобрела ту степень совершенства, «на которой она смогла, как бы силой волшебства, вызвать к жизни картины Рафаэля, статуи Торвальдсена, музыку Паганини».

Но рука не была чем-то самодовлеющим, она была только одним из членов целого, в высшей степени сложного организма<sup>1</sup>.

Вместе с развитием руки и труда шло развитие членораздельной речи, возникновение которой Энгельс также выводит из процессов труда. «Сначала труд, а затем и вместе с ним членораздельная речь явились двумя самыми главными стимулами, под влиянием которых мозг обезьяны постепенно превратился в человеческий мозг, который, при всем своем сходстве с обезьяньим, далеко превосходит его по величине и совершенству»<sup>2</sup>.

Такова в схематическом изложении картина очеловечивания обезьяны, как ее рисует Энгельс. «Совместная деятельность руки, органов речи и мозга», воплощенная в человеческом труде, приводит к совершенному изменению человека как общественного существа и к совершенно новому отношению между поведением человека и природой.

Энгельс говорит: «...мы не думаем отрицать у животных способность к планомерным, преднамеренным действиям. Напротив, планомерный образ действий существует в зародыше уже везде, где есть протоплазма, где живой белок существует и реагирует, т. е. совершает определенные, хотя бы самые простые, движения как следствие определенных раздражений извне. Такая реакция имеет место даже там, где еще нет никакой клетки, не говоря уже о нервной клетке... Но все планомерные действия всех животных не сумели наложить на природу печать их воли. Это мог сделать только человек.

Коротко говоря, животное только *пользуется* внешней

---

<sup>1</sup> Ф. Энгельс, Диалектика природы, М., Госполитиздат, 1955, стр. 133—134.

<sup>2</sup> Там же, стр. 135.

природой и производит в ней изменения просто в силу своего присутствия; человек же вносимыми им изменениями заставляет ее служить своим целям, господствует над ней. И это является последним существенным отличием человека от остальных животных, и этим отличием человек опять-таки обязан труду»<sup>1</sup>.

Но с этой концепцией превращения обезьяны в человека связан еще один чрезвычайно важный вопрос, который в последнее время подал повод для ряда разногласий и без объяснения которого мы не можем представить себе в целом интересующую нас проблему.

## МОЖЕТ ЛИ НАСЛЕДОВАНИЕ ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРИЗНАКОВ СЛУЖИТЬ ОСНОВОЙ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОВЕДЕНИЯ

Этот вопрос заключается в соотношении развития поведения и мозга в процессе превращения животного в человека и дальнейшего исторического развития человека. Наиболее примитивные теории объясняют этот вопрос чрезвычайно просто. Они опираются на факт функционального усовершенствования какого-либо органа в результате его деятельности, на тот общеизвестный факт, что упражнение повышает дееспособность органа и приводит к изменению его строения. Предполагая, что эти приобретенные признаки передаются по наследству, эти авторы утверждают, что эволюция мозга шла параллельно усложнению человеческой жизни и человеческой деятельности. Если до этого пункта развитие поведения выводилось обычно из развития мозга, то начиная с этого пункта, напротив, развитие мозга выводится из развития поведения.

Чем выше стоит народность в своем культурно-историческом строительстве, формулирует эту мысль А. А. Капустин, тем большего развития достигает головной мозг у ее обитателей, и чем ниже стоит народность в культурно-историческом строительстве, тем меньшего развития достигает головной мозг. В доказательство этого автор приводит, как это делают обычно, данные относительно

---

<sup>1</sup> Ф. Энгельс, Диалектика природы, М., Госполитиздат, 1955, стр. 140.

емкости черепа парижанина XIX в. и парижанина XIII в. Объемная разница в этом случае составляет  $35,5 \text{ см}^3$  (по данным работ Брока и Топинара). Автор объясняет эту разницу тем, что с XIII по XIX в. во Франции произошли крупнейшие события. Парижанин XIX в. имел больший по объему мозг, чем парижанин XIII в. Что жизнь парижанина за 600 лет усложнилась, всем известно, но что мозг по объему стал больше, это до Брока и Топинара не было известно, только их работами это было доказано.

Измерения Шмидта показали, что емкость черепа древнего египтянина больше емкости черепа современного на  $44,5 \text{ см}^3$ . Опять-таки автор склонен поставить этот факт в связь с упадком египетской культуры. Он делает из всех этих данных общий вывод: итак, исследования Брока, Топинара, Шмидта установили, что рост головного мозга связан с изменением культурно-исторических или социальных условий. Чем среда богаче по своему социально-экономическому развитию, чем больше требований она предъявляет к личности, тем, очевидно, большая нужна приспособленность. Человек может удовлетворить этим требованиям только развитием своего центрального анализаторного аппарата, другими словами, дальнейшим развитием головного мозга.

Если среда изменяется, если требования к личности предъявляются меньшие, если запросы на «мозговую» работу невелики, мозг деградирует.

Таким образом, автор склонен объяснить с этой точки зрения и два следующих факта. Он спрашивает: «Почему женский головной мозг абсолютно и относительно меньше мужского головного мозга? Может быть, головной мозг мужчины больше потому, что мужской пол физически крупнее, сильнее, а женский — слабее? В природе ничего случайного нет, — говорит автор, — наверное, и здесь есть своя закономерность. Не надо забывать той ничтожной роли, которую играла женщина в политическом, экономическом и культурно-историческом отношении до XX в. Вы знаете, что женщина всеми социальными условиями была поставлена на задворки истории. Требования, которые к ней предъявлялись, в большинстве случаев были исторически минимальными. Ничего нет удивительного, что под влиянием такого рода условий мы наблюдаем меньшую весовую величину женского мозга



по сравнению с мужским при том же самом росте и возрасте.

Когда женщина будет принимать более активное участие в строительстве жизни, тогда, надо полагать, произойдет выравнивание весовой мозговой разницы. Другого объяснения, столь же правдоподобного, я, по крайней мере, не знаю».

Второй вывод, который делается из той же теории, заключается в том, что головной мозг примитивных народностей (африканских негров, туземцев-австралийцев) также отстает в своем среднем весе от мозга европейца. «Вы знаете, что туземцы-австралийцы, — говорит автор, — одна из самых отсталых народностей на земном шаре. Их словарь ограничивается приблизительно ста словами. И вот, оказывается, у этих дикарей, не имеющих письменности, словарь которых исчерпывается ста словами, вес головного мозга равняется 1,185 граммам» (в то время как средний вес головного мозга европейца 1,375 г).

Таким образом, согласно этой теории, культурно-историческое развитие поведения человека объясняется чрезвычайно просто. Усложнение среды, поднятие на высшую историческую ступень, разнообразие деятельности, проще говоря, упражнение мозга создают его повышенное развитие, которое затем наследственно передается из поколения в поколение. *Развитие мозга рассматривается как прямая реакция на воздействие среды.* Если египетская культура упала, то вслед за этим падает и емкость черепа египтянина. Если французская культура поднялась за 600 лет, параллельно этому поднялась емкость черепа парижанина. Мозг женщины меньше мозга мужчины в силу того, что ее деятельность была более ограничена. Стоит эту деятельность усилить, и ее мозг сравняется с мужским, так что уничтожится всякая весовая разница. Примитивный человек обладает малым мозгом и бедным поведением.

Такая точка зрения, при всей своей простоте, оказывается, однако, в корне ошибочной и ложной, несостоятельной как в свете теории, так и с точки зрения фактов. Попытаемся ближе разобраться в этом вопросе.

Прежде всего, с теоретической стороны такое представление о развитии головного мозга в корне противоречит дарвинскому учению об основных факторах эволюции; перед нами чистый ламаркизм, т. е. теория, проти-

воположная Дарвину, утверждающая, что потребность является основным фактором в развитии органов. Что усложняющаяся историческая среда предъявляет более высокие требования к деятельности головного мозга, это не подлежит сомнению, но что потребность может создавать новые органы или являться фактором развития прежних — это с точки зрения дарвинской теории является невероятным.

В самом деле, почему бы происходила такая жестокая борьба за существование в животном мире, почему вымирали бы многие миллионы животных и растительных видов, если бы потребность являлась источником возникновения новых приспособительных функций. Ведь несомненно, у всех этих вымерших ныне животных видов была потребность в приспособлении, почему же она не стимулировала такого развития их органов, которое обеспечило бы их выживание и существование? Нередко, как известно, у какого-нибудь вида животных, в силу изменившихся обстоятельств, является потребность летать, иначе он будет уничтожен. Но эта потребность, однако, бессильна придать животным крылья. Объяснение развития их потребностью есть вообще ложное объяснение, ибо оно предполагает, будто потребность обладает волшебной силой создавать источники своего удовлетворения.

Между тем и история развития человека, и история развития животных на каждой своей странице полна примеров того, как растущие потребности, приходящие в несоответствие с возможностями, приводят на деле к гибели животных и человека, но вовсе не к появлению новых органов или к развитию прежних. Таким образом, объяснение развития из потребностей есть механическое и идеалистическое объяснение, в чрезвычайно упрощенном виде представляющее всю эволюцию, не подтверждаемое ни фактами, ни практикой и в корне отрицающее дарвинское представление о факторах эволюции.

Если бы наследственные признаки так быстро изменялись под влиянием приобретенных признаков, то биологический тип животного и человека представлял бы собой в высшей степени неустойчивую величину. Между тем биологическая функция наследственных клеток как раз и заключается в консервативности, в сохранении, в оберегании устойчивости биологического типа. Далее, мы должны были бы ожидать, что передача приобретенных

признаков по наследству приведет к тому, чего ожидал Гальтон в своем исследовании о наследственности гения. Скажем, несколько поколений людей, занимающихся математикой, должны были бы с этой точки зрения привести, в конце концов, к возникновению потомков, одаренных большими математическими способностями. Как шутливо говорит один из исследователей, у отца-математика должны были бы родиться дети, знающие уже к моменту рождения четыре действия арифметики.

Стоит ближе рассмотреть данные, которые приводятся в подтверждение разбираемой концепции, для того чтобы убедиться в их несостоятельности. Не будем говорить о случайности измерений отдельных черепов, с которыми имели дело исследователи. Все эти измерения выражены в абсолютных цифрах, а как известно, абсолютные цифры ничего не говорят. Показательным является отношение веса головного мозга к весу всего тела в целом и т. д. Достаточно, например, сказать, что не только головной мозг австралийца ниже по своему абсолютному показателю среднего веса мозга европейца, но и общий вес всего тела австралийца обнаруживает разницу с весом европейца. То же самое верно и в отношении женщины. Не только вес ее мозга, но и общий вес ее тела в среднем отстает от веса мужчины, и совершенно ясно, что причины, объясняющие эту весовую разницу, надо искать не в исторической роли женщины или в скудности речи австралийца, а в общих конституционных условиях, т. е. в общих законах построения их тела.

Но с рассмотрением этой теории связан еще вопрос, на который мы должны дать ответ: в каком отношении стоит историческое развитие поведения человека к развитию его мозга?

## ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Основное положение, которое может разъяснить нам интересующий нас вопрос и распутать всю эту сложную проблему, заключается в признании того, что историческая эволюция психологии человека совершалась по иным законам, нежели биологическая его эво-

люция. Внимательные исследования примитивных народов показывают, что различие в их поведении и мышлении по сравнению с поведением и мышлением культурного человека не может быть отнесено за счет меньшего объема их мозга или каких-либо других особенностей их биологической организации. По выражению Турнвальда, примитив заслуживает полного титула человека, так как, по-видимому, биологическая эволюция была закончена задолго до того, как началось историческое развитие человека.

Различие между поведением примитивного и культурного человека относится главным образом за счет таких форм поведения, которые не вытекают непосредственно из организации нашего мозга. Сюда относятся раньше всего развитие поведения, совершающееся за счет внешних средств. Как известно, в процессе исторического развития человек создал в высшей степени важные вспомогательные средства для своей памяти, для своего мышления, для своего внимания.

В качестве примера можно было бы назвать речь, без которой связное логическое мышление, отвлеченное от наглядных и действенных ситуаций, становится почти невозможным. Возникновение и развитие языка, которое является частью общественной жизни человечества и которое вовсе не совершалось за счет увеличения веса мозга, шло действительно параллельно с усложнением социальных связей и социальной деятельности человека, но в свою очередь развитие речи — этого основного вспомогательного средства мышления — поднимало на новую ступень и развитие мышления самого по себе, приводя постепенно к возникновению абстрактных, словесных, совершаемых с помощью внутренней речи, интеллектуальных операций.

Но мышление не является в этом отношении исключением. Так же точно, как человек в процессе своей общественной жизни выработал ряд вспомогательных средств для мышления, он создал их также для памяти и для других функций. Существенным признаком, отличающим человеческую память от памяти животного, является не просто большее развитие человеческой памяти, но то, что изменяется в процессе исторической эволюции, — самый тип психологического развития памяти. От непосредственного запоминания, от непосред-

венного удержания того или иного впечатления человек переходит к овладению своей памятью, к господству над ней, к созданию знаков, с помощью которых он начинает направлять деятельность этой памяти и господствовать над ней.

Из этих примитивных мнемотехнических знаков возникает в процессе культурного развития человека письменность — эта искусственная память человечества, которая и обуславливает такое неизмеримое преимущество человеческой памяти над памятью животных. Примитивный человек, завязывающий узелок на память, впервые вступает на этот исторический путь развития своей памяти и проявляет форму поведения, которая совершенно невозможна у животных.

Таким образом, по правильному выражению Бэкона, «голая рука и интеллект, предоставленный сам себе, не многого стоят». Так же как возрастающее могущество человека над природой обязано не развитию самой руки, но развитию тех орудий, которыми вооружена человеческая рука, так точно интеллект, предоставленный сам себе, по-видимому, мало изменяется в продолжение исторического развития человечества. Здесь также развитие совершается за счет вспомогательных средств. Человек совершенствует работу своего интеллекта главным образом за счет развития особых технических вспомогательных средств мышления и поведения. Человеческую историю невозможно понять без истории письма, как историю человеческого мышления без истории речи.

То, что мы видим в отношении мышления и памяти, является, как уже сказано, общим законом, определяющим историческое развитие и всех остальных психических функций человека. То общее, что характеризует развитие всех этих частных функций, может быть сведено к двум основным моментам.

Первый состоит в том, что человек, создавая вспомогательные средства для своего поведения, тем самым изменяет основной тип своего психологического приспособления. Из непосредственного процесса, определяемого прямым соотношением стимула и реакции, поведение человека, опирающееся на вспомогательные средства, становится опосредствованным. Так возникают все высшие функции человека.

С этим переходом связан и второй момент, который выражается в подчинении поведения человека его собственной власти. С помощью знаков человек начинает господствовать над своей памятью и направлять ее процессы сообразно своим целям. Так точно с помощью речи он овладевает мышлением. По правильному выражению К. Бюлера, речь думает за нас. Уже в самой речевой формулировке заключена логическая обработка воспринимаемых впечатлений. Любая фраза ставит в логические отношения друг к другу те фактические данные, которые заключены в ее содержании.

Таким образом, опосредствованный характер человеческих операций, возникающий благодаря введению вспомогательных средств в поведение, с одной стороны, и достигаемое с помощью этих средств овладение собственным поведением, с другой, — вот те два момента, которые определяют своеобразие исторической эволюции поведения в отличие от его биологической эволюции.

Внимательное сравнение показывает, что память культурного человека по сравнению с памятью примитивного функционирует неизмеримо более мощно, но при этом непосредственная память, т. е. сила прямого удержания каких-либо конкретных впечатлений, у примитивного человека значительно выше, чем у культурного. Но вербализованная память человека, эта память в понятиях, приводит к запоминанию сокращенных, логически обработанных и связанных впечатлений. Опираясь в своих внутренних процессах на внутреннюю речь, в своих внешних операциях на письменность, эта память эволюционировала вместе с историей развития речи, вместе с историей развития письма.

Таким образом, не внутри человека, но вне его, в той социальной среде, к которой он принадлежит, в развитии тех социально-психологических средств, которое шло параллельно развитию человека, следует искать прямой источник исторической эволюции поведения. Не мозг австралийца с его меньшим весом является ответственным за небогатое развитие его речи, за отсутствие у него письменности, за весь примитивный склад его мышления и поведения, а низкая ступень развития производительных сил, примитивный тип строения общества, общее недоразвитие техники, ничтожная степень власти над природой являются в конечном счете ответ-

ственными за недоразвитие речи и письменности. А недоразвитие таких моментов в свою очередь приводит к более бедному функционированию всех решительно психических функций. Таким образом, мозг австралийца заключает в себе полностью все возможности культурного развития, как и мозг европейца, но только он не проделал еще процесса своего культурно-исторического развития.

Мы видим, что благодаря введению вспомогательных средств, возникающих в процессе общественной жизни человека, человек вырабатывает все новые и новые приемы и способы поведения, по-новому организует свою деятельность, короче говоря, человек в обществе иначе использует, иначе приводит в действие, иначе применяет свои природные силы. Эта выработка новых приемов и способов поведения стоит также в непосредственной зависимости от общественной жизни человека. Тогда, когда возникают сложные формы сотрудничества, они приводят к возникновению новых способов индивидуального поведения.

В самой общей форме мы могли бы выразить этот закон, сказав, что всякая высшая психическая функция, возникающая в процессе исторического развития человека, появляется на сцене дважды: сначала как функция социально-психологического приспособления, как форма взаимодействия и сотрудничества между людьми, как категория интерпсихологическая; затем — как форма индивидуального приспособления, как функция психологии личности, как категория интрапсихологическая.

Лучшим примером этого может служить развитие речи. Все знают, какое огромное значение для мышления современного человека представляют процессы внутренней речи. Это значение настолько велико, что многие авторы склонны отождествлять мышление и речь. Между тем было время, когда человечество вовсе не знало той психической функции, которую мы называем внутренней речью. Речь есть прежде всего функция коммуникативная; она служит целям связи, общения, социальной координации поведения. И лишь впоследствии, применяя тот же самый способ поведения к самому себе, человек вырабатывает внутреннюю речь. При этом он как бы сохраняет «функцию общения» даже в своем индивидуальном поведении, он применяет к самому себе социальный способ действия.

Его индивидуальная функция представляет, по существу дела, в этом случае своеобразную форму внутренне-го сотрудничества с самим собой. В этом смысле прекрас-ным эпиграфом к истории развития всех высших психи-ческих функций могли бы служить слова Фейербаха, который говорит: «Что абсолютно невозможно для одно-го человека, то возможно для двух». История развития всех высших функций показывает, что выполняемые с их помощью операции первоначально являются возмож-ными только для двух и лишь затем они становятся операциями, выполняемыми одним человеком. Наконец, это соединение в одном лице различных и разделенных раньше между двумя лицами процессов социального сотрудничества, этот переход к употреблению знаков и к опосредствованным психологическим операциям, эта выработка новых приемов и способов поведения и приво-дит нас к общему выводу относительно самого содер-жания процесса исторического развития поведения.

Исследования показывают, что в этом процессе меня-ются не столько внутренний состав и строение самих психических функций, сколько межфункциональные свя-зи и отношения. В процессе исторического развития уничтожаются и распадаются старые натуральные, при-родные связи между функциями, и на их место заступают новые психические образования, которые мы условно на-зываем психологическими системами, или системными функциями, для того чтобы указать, что мы имеем в дан-ном случае единства высшего порядка, сложные обра-зования, возникающие из сочетанной деятельности ряда элементарных функций.

Если мы внимательно посмотрим на память совре-менного культурного человека, на его внимание, его мы-шление, то за всеми этими функциями мы увидим пси-хологические системы, т. е. целые группы сотрудничаю-щих функций, выполняющих то назначение, которое в поведении примитивного человека выполняется част-ными, отдельными, элементарными функциями. В этом смысле, например, различие между памятью примитив-ного человека и памятью культурного человека заклю-чается не столько в изменении внутренней структуры этой функции, сколько в изменении системы функций, действующих в одном и другом случае.

Как правильно указывает Леви-Брюль, в психике и



поведении примитивного человека память играет не ту роль, занимает не то место, что в нашей личности. Эта более значительная роль памяти объясняется тем, что определенные функции, которые она выполняла некогда, в нашем поведении выделялись из нее и трансформировались. Наш опыт конденсируется в понятиях, и мы поэтому свободны от необходимости сохранять огромную массу конкретных впечатлений. У примитивного же человека почти весь опыт опирается на память. Мы видим, таким образом, что не столько изменение самой памяти, сколько изменение функциональной системы, выполняющей определенные приспособительные назначения, составляет содержание исторического развития человеческой памяти.

Вместе с этим мы получаем и возможности представить в верном свете отношение, существующее между эволюцией мозга и эволюцией поведения в человеческой истории. Судя по всем данным и теоретическим, и фактического характера, есть все основания думать, что мозг человека не эволюционировал сколько-нибудь значительно в продолжение человеческой истории. Есть основания полагать, что основные законы деятельности человеческого мозга могут быть приняты за более или менее постоянную величину на всем пути исторического развития поведения.

Нам нет надобности допускать, что каждый шаг в развитии поведения сопровождался соответствующим шагом в развитии мозга и тем самым производить насилие и над теорией, и над фактами. Достаточно допустить, что в мозгу человека содержатся возможности, даны предпосылки для возникновения новых способов поведения, новых синтезов, новых функциональных систем, а все, что мы знаем из истории развития мозга, приводит нас к убеждению, что дело обстоит именно так.

Мы уже говорили выше, что закон самостоятельности высших синтезов является основным законом в истории построения и развития мозга. Таким образом, мозг человека вырабатывает в процессе исторического развития все новые и новые способы поведения, новые синтезы, новые системы, не изменяясь сам сколько-нибудь существенно в своей структуре и в основном инвентаре своих функций, своих способов деятельности. Разумеется, каждому новому способу деятельности отвечает новое со-

четание нервных аппаратов. Однако эти изменения, происходящие в мозгу человека в процессе исторического развития, относятся к тому типу изменений, которые акад. Северцов называет функциональным изменением органов, которое не передается по наследству.

## **РАЗВИТИЕ И РАСПАД ВЫСШИХ ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШИХСЯ СПОСОБОВ ПОВЕДЕНИЯ**

Важнейшей проверкой этого положения о соотношении исторической эволюции поведения и эволюции мозга являются исследования двоякого рода. С одной стороны, исследования ребенка, с другой стороны, исследования больных с поражениями мозга.

Изучая развитие поведения ребенка, мы видим, что это развитие складывается в основном из двух главных линий. К первой линии принадлежит развитие элементарных форм поведения, непосредственно связанных с развитием мозга ребенка. Здесь связь между развитием мозга и возникновением новых форм поведения оказывается столь же прямой, как и в филогенезе. Мы могли бы в этом отношении вместе с К. Бюлером приложить к ребенку вывод Эдингера, гласящий, что возникновение новых способов поведения является всегда результатом появления новых частей мозга или разрастанием прежде имеющихся.

Но наряду с этой линией мы наблюдаем в онтогенезе и другую линию социально-культурного развития поведения, и исследование показывает, что все высшие психические функции строятся в онтогенезе именно по законам этой второй линии. Они возникают в процессе социального общения ребенка с окружающими, они подчиняются приведенному выше закону перенесения социальных форм поведения на самого себя, они обнаруживают тот же характер эволюции с переходом от непосредственных к опосредствованным формам операций, то же растущее овладение со стороны ребенка процессами собственного поведения, то же построение новых функциональных систем, короче, все те моменты, которые являются характерными для исторического типа эволюции. На каждом шагу в экспериментальных ис-

следованиях мы приходим к тому положению, что высшие психические функции, являющиеся в филогенетическом плане продуктом исторического развития человечества, имеют также и в онтогенезе свою особую историю развития, которая теснейшим образом связана с биологической эволюцией поведения ребенка, но которая не совпадает с ней полностью, следовательно, не может быть с нею отождествлена.

Вторым способом проверки высказанного нами положения является исследование распада психических функций при различных поражениях мозга. Эти исследования показывают, что распад высших психических функций также происходит по иным законам, чем выпадение элементарных психических функций, и что, следовательно, распад высших и низших функций обнаруживает иную зависимость от выпадения тех или иных элементарных функций мозга. Иначе говоря, клиническое исследование также показывает, что высшие психические функции иным образом связаны с деятельностью мозгового аппарата, чем элементарные.

Наиболее интересным в этом отношении представляется исследование афазии, т. е. заболевания, связанного с поражением речевых центров и с различными нарушениями речевой функции. Как показывает исследование, при этом заболевании вторично страдают высшие формы памяти, внимания, произвольного действия и других высших психических функций, связанных с речью, строящихся по типу функциональных систем, в состав которых входит речь.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нам остается в заключение подвести итог всему тому, что сказано до сих пор. Необходимо рассмотреть различие, существующее между поведением животного и человека, т. е. дать ответ на основной вопрос, для разрешения которого мы и разбирали все вышеизложенные мысли.

Мы уже говорили по поводу процесса превращения обезьяны в человека, о существенном отличии, которое выдвигает Энгельс, между планомерными действиями

животного и человека. Зачатки планомерных действий мы находим уже в животном мире, но самое отношение животного к природе принципиально отличается от отношения человека к природе. Именно животное пользуется природой и изменяет ее самим фактом своего присутствия, человек господствует над природой, подчиняет ее своим целям, накладывает на нее печать своей воли. Нам думается, что здесь мы находим наиболее правильное указание относительно отличия поведения человека от поведения животного, которое мы должны искать не в наличии тех или иных функций, абсолютно новых для человека и полностью отсутствующих в животном мире (как, например, разум, психика и т. д.). Все функции человека имеют свои зачатки в животном мире. Новое, специфически человеческое заключается в *свободе человеческого поведения*, в том, что Энгельс называет *печатью его воли*.

«Свобода,—говорит Энгельс в другом месте,—следовательно, состоит в основанном на познании необходимости природы (Naturnotwendigkeiten) господстве над нами самими и над внешней природой, она поэтому является необходимым продуктом исторического развития. Первые выделившиеся из животного царства люди были во всем существенном так же несвободны, как и сами животные, но каждый шаг вперед на пути культуры был шагом к свободе»<sup>1</sup>.

К. Левин — немецкий исследователь, — изучая намерения, обратил внимание на тот факт, что человек способен образовывать *любые намерения*, что эта способность отличает культурного человека от примитивного человека и ребенка, что она, следовательно, приобретается в процессе исторического, культурного развития, а не составляет часть естественного природного инвентаря нашего поведения, что она, наконец, в гораздо большей степени, чем высоко развитый интеллект, отличает человека от животного. Эта свобода в создании намерений и возникает, как показывает исследование, благодаря *«свободе воли»*, благодаря господству человека над самим собой.

Исследования над больными афазией, например, показывают, что вместе с потерей речи человек глубоко

---

<sup>1</sup> Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, М., Госполитиздат, 1957, стр. 107.

деградирует, глубоко отступает назад по пути своего развития в отношении этой свободы. В крайних степенях этой болезни нарушение свободных практических действий заходит так далеко, что больной оказывается неспособным образовывать «любое намерение», независимо от конкретной обстановки и от действующей в настоящий момент потребности. Так, больной, описанный Кассирером, страдающий афазией, узнает графин и может налить из него воды в стакан только тогда, когда он испытывает жажду и хочет пить. Вне этой конкретной ситуации, создаваемой потребностью, ни узнавание графина, ни выполнение соответствующего действия оказываются для него невозможными.

Бойтендаик — голландский исследователь — выпустил в последнее время (1930) работу, посвященную сравнению поведения человека и животного. В этой работе на основании ряда опытов он приходит к совершенно правильному выводу, что аналитическое рассмотрение поведения человека и животного не может привести к выделению тех черт, которые бы отличали одного от другого, но только синтетическое изучение всего поведения в целом показывает это различие. Правда, автор сводит все это различие не к различию в функциях, а к различию в содержании, которое возникает в результате деятельности этих функций. Но его же собственные опыты показывают, что вместе с новым содержанием возникает и новая форма поведения, новый способ организации действий, новая система деятельности отдельных функций, которая приводит к той свободе поведения человека, о которой мы говорили выше.

В этом отношении сравнение животного и ребенка, которое проходит красной нитью через целый ряд современных исследований, приводит, думается нам, к ложным отождествлениям поведения ребенка, например ребенка трех лет, и высших обезьян. (Например, в работе Иеркса.) Эти исследователи основываются обычно на оценке внешнего результата той или иной деятельности и склонны считать, что сходный результат в одном и другом случае является гарантией того, что процессы, с помощью которых был получен этот результат, были одинаковыми. Исследования, однако, показывают, что это не так, что сходные по результату и по внешнему признаку два процесса поведения могут быть со

стороны их внутренних — генетических и каузально-динамических связей совершенно отличны один от другого. Именно это имеет место в развитии поведения ребенка и поведения обезьяны, столь схожих друг с другом в своих внешних проявлениях и столь различных по самой своей сущности.

## СОВРЕМЕННЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ПСИХОЛОГИИ<sup>1</sup>

Я посвящаю этот доклад анализу того, что, как мне кажется, является наиболее характерным в кризисе, переживаемом психологией, и необходимо для того, чтобы найти ориентировку в том, что делается сейчас в области психологии.

С внешней стороны тот кризис, который протекает в психологии острее, чем в какой-либо другой науке, находит свое выражение в том, что психология на Западе разбилась на целый ряд мелких направлений, одно перечисление которых должно было бы занять изрядное количество времени. В психологии мы не имеем такого положения, какое имеем в области современной физики, где существует единая, твердая громада общепризнанного научного знания, и хотя на этой основе появляются отдельные спорные взгляды в области тех или иных теорий, гипотез, но основная масса фактического материала представляется систематически упорядоченной и пользуется более или менее всеобщим признанием.

Вся современная психология, даже в ее фактическом материале, представляет собой состояние, которое называется «войной всех против всех», состояние, которое характеризуется раньше всего тем, что в ней нет единой общепризнанной системы достоверного научного знания и его хотя бы первичного теоретического обобщения, ко-

---

<sup>1</sup> Доклад, прочитанный в Академии коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской 26 июня 1932 г.

торое являлось бы достаточно убедительным хотя бы в глазах современных представителей этой науки.

Как известно, Павлов полагал, что психология как наука не существует. Он ссылается на мнение Вундта, который говорил, что самая главная беда психологии заключается в том, что по этому предмету нельзя составить единую программу экзамена, которая была бы годна для всех студентов немецких университетов. Понятно, что для представителя немецкой профессуры вопрос об экзаменах стоит на первом плане, но для историка нашей науки это обстоятельство имеет гораздо более глубокое значение.

Для того чтобы правильно охарактеризовать это наличие различных и борющихся между собой психологических направлений, нужно знать два момента, которые характеризуют это обстоятельство. Первый момент заключается в том, что почти все эти направления растут и строятся на особой фактической основе. Я не могу сейчас назвать двух достаточно крупных психологических направлений в современной Америке и Западной Европе, которые выросли бы из одной и той же фактической основы, т. е. которые разрабатывали бы одну и ту же главу психологии, хотя бы и совершенно различным образом. Свообразие этого расчленения психологической науки на ряд отдельных направлений заключается в том, что каждое из них является, с одной стороны, особым направлением во всей психологической науке, которое исходит из иного понимания методов психологии и которое пытается перестроить всю науку в целом. С другой стороны, эти отдельные психологические направления представляют собой отдельные главы психологии, каждое из них разрабатывает ту или иную фактическую проблему, ту или иную главу психологии.

В качестве примера было бы достаточно назвать направление, возглавляемое Фрейдом, разрабатывающим проблему бессознательных влечений, проблему аффективной жизни; направление эйдетической психологии, возглавляемой Иеншем, разрабатывающим преимущественно явления восприятия и памяти и притом с одной только определенной стороны; наконец, направление так называемой структурной психологии, которая разрабатывала до сего времени преимущественно и почти исключительно проблемы восприятия, а в последнее время на-



чинает подходить к другой проблеме — проблеме действий, аффекта и воли.

Вместе с тем мы видим, что внутри единой структурной психологии намечаются два различных направления, которые говорят на разных языках, которые позволяют говорить и в ней о борьбе старой и новой психологии.

Один из современных исследователей выразил следующую мысль: если внимательно проследить историю возникновения новых психологических учений, то легко всегда проследить одну и ту же картину, которая имеет место при зарождении каждого нового психологического направления. Прежде всего, в начале каждого направления стоит какое-нибудь фактическое открытие. Должен сказать, что с фактической стороны это в значительной мере верно. Если мы проследим историческое развитие огромного количества психологических направлений, то увидим, что в начале стоит ряд фактов, открытых или тогда, когда исследователи шли наугад, или когда исследователи сознательно ставили перед собой задачу исследования определенных фактов. Почти всегда, за небольшим исключением, мы имеем дело с новым фактическим материалом, который приносится в психологию каждым новым направлением. Однако именно потому, что не существует единой общепризнанной системы психологии и более или менее общепризнанной теории психологических знаний, именно потому каждое из этих направлений вынуждено осознавать и теоретически обобщать найденные ими факты, развивая свою собственную теорию и методологию или, по ироническому выражению упомянутого обозревателя, вынуждено пришивать методологическое пальто к найденной фактической пуговке. Иначе говоря, происходит непропорциональный рост интерпретаций, выходящих далеко за пределы фактической области, охваченной исследованием. Эта область становится исходным пунктом для замены существующей системы знаний и одностороннего освещения всей системы психологии и тем самым выдвигается в центр исследования.

Например, у нас широко известно, что Фрейд является пансексуалистом. Но это произошло не потому, что он признавал сексуальный принцип как центральный для исследования. Можно исторически доказать, что это открытие было неожиданным. Можно указать, что Фрейд раскрывает или объясняет всю психологию, исходя из

психологии пола, по той же причине, по какой сторонник другой психологической теории объясняет всю психологию, исходя из психологии памяти. Создается такое положение, когда данная глава психологии становится фундаментом, или, вернее сказать, центром, исходя из которого исследователь строит всю систему психологии.

Расхождение между отдельными направлениями современной психологии заключается не только в интерпретации фактов, но и в том, из каких фактов следует исходить, как из центра, т. е. какую главу сделать центральной в системе знаний, в теоретическом развитии всей психологической системы.

Первое обстоятельство, следовательно, заключается в том, что борьба отдельных школ одновременно является и процессом, в котором рождаются отдельные главы психологии. Поэтому каждое новое направление в современной психологической науке означает вместе с тем обогащение психологии новым психологическим материалом, зарождение новой главы или перестройку какой-нибудь старой главы психологии на новой фактической основе.

Вторая особенность этих отдельных борющихся между собой психологических направлений заключается в том, что каждое из этих направлений волей-неволей строится, так сказать, эклектически, т. е. волей-неволей при объяснении других глав психологии каждое из этих направлений вынуждено вбирать в себя данные разных других направлений, часто методологически чужеродных данному направлению. Ибо понятно, что на одних интерпретациях дело построено быть не может.

Все это приводит к тому — и это гораздо более серьезно, — что в исследовании становится невозможным соотносить факты одной главы с фактами другой главы. Поэтому возникают направления смешанного стиля, в которых наряду с идеями «чистого стиля», соответствующего данному направлению, наличествуют идеи исторически совершенно другого происхождения.

Поэтому каждое психологическое направление имеет очень сложное историческое происхождение, во-первых, в смысле наличия той фактической основы, о которой я говорил, упоминая, что борьба направлений есть вместе с тем нарождение новых глав, а с другой стороны, в том смысле, что каждое из этих направлений эклектично.

Позвольте проиллюстрировать это на конкретном примере. Как известно, фрейдовская система психологии возникла как реакция на ассоциативную психологию, в которой все побуждения сведены к связям и сочетаниям психических процессов. А между тем ни одна из современных систем не сохранила в такой неприкосновенной целостности ассоциативную психологию, как именно фрейдовская система. Самый метод, которым пользуется Фрейд,— это метод сведения в одно целое различных ассоциаций, метод анализа детерминированных ассоциативных рядов. Сами представления, из которых исходит Фрейд, когда толкует об интуитивных, ассоциативных процессах, целиком заимствованы им из ассоциативной психологии начала XIX в.

Таким образом, каждое направление оказывается чрезвычайно сложным по своему составу и отношения между отдельными направлениями, борьба между ними принимает чрезвычайно многообразные формы. Так, например, если бы мы взяли сейчас все основные направления современной психологии в их отношении к фрейдовской системе, то мы увидели бы, что все они стоят в оппозиции к фрейдовской системе, однако они представляются оппозиционными по отношению к разным моментам в этой системе, например структурная психология возражает во фрейдизме против сколка со старой ассоциативной психологии, а современная персоналистическая психология возражает против другого, против самого принципа бессознательного. Таким образом, персоналистическая психология и структурная психология одинаково представлялись оппозиционными по отношению к системе Фрейда, но они представляются оппозиционными в отношении разных моментов этой теории.

Если подытожить то, что я говорил до сих пор и что характеризует некоторые моменты кризиса современной психологии, то можно сказать словами Brentano (книжка которого об историческом развитии кризиса в психологии вышла в 1884 г., как раз к началу того кризиса, вторую или третью фазу которого мы переживаем сейчас), что вся беда заключается в том, что не существует единой психологии, а существует много психологий и что задача исследователя заключается в том, чтобы на месте этих многих психологий создать единую психологию. И в науке, как и в политике, объединение никогда не дости-

гается без борьбы. И поэтому была объявлена открытая борьба, открытая война между отдельными направлениями в психологии. Это было тем осознанием кризиса, которое было подготовлено всем предшествующим развитием психологии.

Итак, на знамени огромного большинства современных психологических направлений написано: борьба за единую психологию, переход к такому идеальному состоянию психологии, которое обозначает создание крупных обобщений, создание единой общепризнанной системы науки, которая в глазах многих современных психологов-метафизиков должна явиться абсолютной системой психологических знаний, обладающей абсолютной достоверностью для всех веков и народов.

Однако эта тенденция к тому, чтобы на месте разных психологий была поставлена единая наука, разделяется меньшинством господствующих в психологии направлений. Это происходит, во-первых, потому, что большинство современных направлений гораздо больше усвоило лозунг, что объединение невозможно без борьбы с противоположными течениями, а во-вторых, потому, что в ходе осуществления этого лозунга открылось новое обстоятельство, которое является характерным именно для второй фазы кризиса и которое представляет собой несомненно перелом в развитии той картины, о которой я говорил прежде. Это новое обстоятельство заключается вот в чем. При попытке объединить различные психологические направления в единую науку, создать единую психологию вместо многих психологий, целый ряд исследователей, идя самыми различными путями, наталкивались на непреодолимые с их точки зрения противодействия и противоречия. Тогда в разных частях психологии, в разных ее главах и стали раздаваться голоса, что единой психологии существовать не может. И надо сказать, что большинство современных психологических направлений стоит на той точке зрения, что единой психологии существовать не может.

Таким образом, в новом своем виде это осознание кризиса получило такую форму. Если раньше говорили, что беда психологии заключается в том, что нет единой психологии, что существует много психологий, то сейчас стали говорить так: существует много психологических направлений, которые тщетно пытаются каждое в от-

дельности создать единую психологию и что на самом деле исторически существовало всегда и навсегда останется такое положение, когда будут существовать две различные психологические науки, которые друг с другом никак не могут быть объединены.

Эти голоса впервые раздалась на двух противоположных полюсах европейской психологии. Во-первых, такие взгляды возникли на практическом полюсе психологии, именно с началом ее приложения к промышленности, в частности при начале работы Мюнстерберга, одного из основоположников психотехники. Именно тогда стало совершенно ясным, что когда психология хочет построить свою практическую часть, то она наталкивается на разнородность того материала, из которого складывается. Отсюда Мюнстерберг пришел к выводу, что, по общему мнению, психология с внешней стороны складывается из разных направлений, а с внутренней стороны включает в себе две исторические тенденции к развитию, две независимые друг от друга науки, из которых одну Мюнстерберг называет каузальной, естественнонаучной, причинной, объяснительной психологией, а другую — теоретической, описательной или аналитической психологией, находящейся там, где психология граничит с так называемыми науками о духе, т. е. с философией, с историей литературы, историей искусства, историей культуры, историей языка и т. д.

На другом полюсе ту же самую идею выдвинул Дильтей, идя совершенно другим путем, чем Мюнстерберг. Дильтей тоже пришел к выводу, что современная ему психология в целом распадается на две части: описательную и расчленяющую психологию, имея в виду то же, что и Мюнстерберг. Целый ряд авторов разными словами, с разными мотивировками, исходя из разных точек зрения, развивают ту же самую идею.

Так как нашей задачей является охарактеризовать эту идею, а не останавливаться на многообразии ее вариантов, то позвольте мне не останавливаться на отдельных вариантах, в которых эта идея воплощается в современной психологии, а сказать самое основное, что является общим для всех ее носителей и представителей.

Это общее заключается в том, что практически и теоретически, говорят эти авторы, можно к психической жизни человека подойти двояким путем.

Можно поставить себе задачу проследить, как связываются явления психической жизни между собой и как они связаны с явлениями, лежащими за пределами этого круга, каким образом они обусловлены, каким образом они возникают из других, каковы видоизменения этих явлений, какова их структура, каковы законы их проявления, законы их деятельности. Уже исходя из этих знаний, можно поставить вопрос о том, чтобы подчинить себе эти законы, освоить их и, таким образом, создать научно построенную психологическую практику по образцу того, что мы имеем во всех остальных областях научной жизни.

Психология должна строиться, в основном, по тому же типу, по которому строятся естественнонаучные дисциплины. Такая психология будет действительной наукой, ибо она будет изучать факты, она будет наукой каузальной. В глазах многих из авторов она неизбежно и непременно будет наукой физиологической, ибо сами по себе психические переживания не обладают необходимой для науки цепью последовательности, зависимости между ними. Когда мы говорим о причинах этих явлений, то волей-неволей мы обращаемся к материальным процессам, которые должны мыслить как ту или иную часть психического процесса. Такая психология может существовать как физиологическая психология.

Однако, говорят эти авторы, можно подойти к психической жизни человека и с другой стороны, со стороны внутренней; можно задаться вопросом, что переживает тот или иной человек независимо от причины его переживаний, каково строение этих переживаний, структура, каковы законы их протекания. Можно поставить себе задачу не столько объяснить, сколько понять другого человека, вчувствоваться в него или путем того, чтобы в себе самом воссоздать переживания аналогичного характера, или путем того, чтобы перенестись в переживания другого человека.

Задачей такой науки, следовательно, будет не объяснение, а понимание душевной жизни. Такую психологию называют «понимающей» психологией с точки зрения ее конечных целей. Но, для того чтобы понимать, нужно, очевидно, располагать двумя основными моментами, которые выдвигаются здесь на первый план. Во-первых, для того чтобы понимать, нужно, если можно так выра-

зиться, описывать, и поэтому эта наука становится описательной. Однако этот термин применяется здесь не в том смысле, в каком описание составляет необходимый момент во всех научных исследованиях и теориях. Всякое научное исследование не может приступить к объяснению неописанных фактов. Описание и объяснение представляют собой моменты в процессе научного труда, неразрывно связанные в научном исследовании. Когда же мы говорим о том, что эта психология является описательной, то это значит, что эта психология является описательной в такой же мере, в какой описательной является геометрия; поэтому Дильтей называл свою расчленяющую психологию математикой духа. В самом деле, говорит Дильтей, разве какому-нибудь геометру придет в голову объяснить, почему два треугольника не рожают окружность или по какой причине сумма углов в треугольнике равна двум прямым. Окружности не рождаются из треугольников, треугольники не превращаются в окружность. Все эти формы существуют сами по себе. Когда мы говорим, что сумма углов в треугольнике равняется двум прямым, то с точки зрения доказательств это логическое, а не онтологическое соотношение. С точки зрения же существа дела, когда мы говорим «потому что», то мы не ищем причин, лежащих вне треугольника, а мы расчленяем и делаем вывод, связанный с определенным числом математических фигур и изнутри самой природы треугольника представляем причины того, что сумма углов треугольника равна двум прямым. И ни одному геометру не пришлось в голову искать основы вне данного объекта или, иначе говоря, искать причины тех связей, какие мы установили в математике, с теми связями, которые имеются вне математики, с какой-нибудь реальной внешней причиной, лежащей вне геометрии. В направлении, о котором идет речь, психология раскрывается как математика духа, как наука, которая имеет дело с двумя моментами — с описанием и анализом. Дильтей называл ее расчленяющей психологией в том смысле, что она исходит не из интуиции, из которой исходит Бергсон, находящий непосредственные данные сознания и рассматривающий внутреннюю очевидность переживания. Такая психология не может подняться до науки. Она может в лучшем случае достигнуть сопереживания. Ведь я могу при известных условиях почувствовать горе, которое переживает чело-

век, но это далеко от того, чтобы я постиг научные законы, а Дильтей стремится к изучению законов. Следовательно, одной интуиции недостаточно, одного усмотрения мало. Нужна логическая разработка данных интуиции. Необходим анализ, необходимо расчленение. Однако этот анализ принципиально отличается от того анализа, который мы применяем в естественных науках, там, где мы опираемся главным образом на факты. Здесь мы опираемся на идеально построенное представление. Я сейчас поясню, что это значит.

Когда мы доказываем, что сумма углов треугольника равна двум прямым, то это доказательство не выигрывает в убедительности, если мы это докажем по отношению к сотне треугольников. Это достаточно доказать по отношению к одному. Так же точно, говорят эти авторы, описательная психология никогда не может быть эмпирической психологией, т. е. психологией, продвижение которой зависит от собирания, приумножения фактов, анализа этих фактов в их соотношении друг с другом. Для такой психологии достаточно суждения, высказанного по отношению к единичному факту, который берется даже в другом разрезе, чем реальный, действительный факт. К психическим переживаниям, говорят эти авторы, надо подойти так же, как геометр подходит к своему чертежу треугольника. Он понимает, что чертеж, который имеется на бумаге, на доске, — это есть геометрический, идеально мыслимый треугольник. Несмотря на то что, в сущности говоря, перед ним не идеальная прямая, не абсолютная точка и т. д., он рассматривает данный чертеж как представителя того идеально мыслимого треугольника, анализом которого он, геометр, занимается. Так же точно мы должны подойти к каждому отдельному психическому переживанию. Мы должны взять это, как выражается один из авторов, неполнокровное, несколько загрязненное, связанное с другими, спутанное, затемненное переживание, каким оно бывает в действительности, но рассмотреть в нем его сущность, т. е. тот идеальный облик структуры психического переживания, который лишь проявляется в этом конкретном виде.

Вы знаете, вероятно, что мы имеем сейчас целый ряд психологических направлений, строящих такую описательную психологию. К таким направлениям принадлежит и Гуссерль, и Бергсон с его интуитивным анализом



психических переживаний. Эти теории, представляя различные направления, борясь между собой, объединяются, однако, общим методологическим планом, в котором они развиваются.

В отличие от этого другие психологические направления занимаются преимущественно разработкой проблем объяснительной психологии. Они в своем крайнем выражении привели через психологию Джемса так называемую функциональную психологию к образованию целого ряда направлений, которые сейчас объединяются под названием объективной психологии. Уже Джемс резко повернул всю фактическую сторону психологического исследования, когда он изменил постановку вопроса, сказав, что для нас важно не столько знать, что такое сознание, сколько знать, что делает сознание, т. е. подойти к тем действиям, к тому функционированию, которое непосредственно связывается с психическими переживаниями. Отсюда, как вы знаете, очень сложный путь привел к образованию бихевиоризма в современной психологии, к крайнему выражению этих объективистических тенденций в современном психологическом исследовании.

Позвольте привести несколько примеров к тому, что я сказал до сих пор. При этом я бы хотел сослаться на исследования, образующие такой центральный пункт, из которого расходятся дальнейшие фактические исследования.

В качестве примера различия описательной и объяснительной психологии и того вреда, который отсюда истекает, обычно называют Вундта. Как известно, Вундт занялся целью построить психологию с двух концов. Ему принадлежат две капитальные попытки, обе исторически важные, но неудачные с точки зрения задач, которые были поставлены. Это — создание физиологической психологии и создание психологии народов в форме единственно мыслимой для него с точки зрения его социальных взглядов. В этих попытках и выступает то различие между объяснительной и описательной психологией, которое имеет место у Вундта. Как говорят его противники, именно это обстоятельство объясняет неудачу Вундта. Неудача эта заключается в том, что, подходя к продуктам социальной жизни — религии, нравам, обычаям, языку, — он пытался объяснить их, исходя из психологических законов.

Вундт в своём объяснении сводил психологическую сторону языка, религии, мифа к законам индивидуальной психической жизни, к законам ассоциации, внимания, апперцепции, одним словом, к процессам и законам, которые можно экспериментально обнаружить, изучая законы человеческой индивидуальной деятельности. Он предполагал, что из чисто суммативного объединения, чисто механического взаимодействия психики отдельных индивидов в обществе возникают психологические продукты более сложного порядка и что они, в сущности говоря, не содержат ничего нового по сравнению с тем, что обнаруживается физиологическим и психологическим исследованием отдельной личности. Отсюда и такое неадекватное объяснение сложных психологических образований, связанных с культурным историческим развитием человечества. Такая же трудность возникает и в физиологической психологии Вундта. Как известно, там, где должно было завершаться все построенное им здание физиологической психологии, он вынужден был прибегнуть к теориям, выходящим далеко за пределы эмпирического научного знания. В последних своих работах он приводит такое широкое толкование введённому им первоначально фактическому понятию апперцепции, которое превращало эту функцию в некоторый принцип метафизического порядка, исходя из которого мы должны объяснять отдельные стороны душевной жизни человека, отнюдь не прослеживая фактическую реальную связь, а обращаясь к связям чисто идеального, логического порядка. То же самое случилось и с его понятием творческого синтеза и с другими моментами в его учении.

Иначе говоря, физиологическая психология пыталась создать основу для построения научно разработанной социальной психологии, но эта попытка оказалась безуспешной; с другой стороны, при построении физиологической психологии Вундт должен был обращаться к таким принципам «математики духа», от которых он ждал объяснения целого ряда явлений и зависимостей в самой физиологической психологии.

Если мы остановимся еще на некоторых примерах, то увидим, что отдельные главы психологии, как правильно на это указывал Мюнстерберг, развивались то преимущественно в плане одной психологии, то преимущественно в плане другой психологии. Так, например, психология

памяти почти всегда разрабатывалась в плане объяснительной психологии. Память обычно раньше всего представляется нам с точки зрения законов деятельности отдельных функций сознания, с точки зрения результатов этой деятельности. Эта сторона ее изучения особенно очевидна в отличие от изучения процессов воли, чувств, намерений, которые рассматривались большей частью с описательной стороны, т. е. с точки зрения переживания определенного лица или той системы переживаний, в состав которой они были включены. Однако Бергсон в известной работе «Материя и память» все свое исследование об отношении духа к материи построил на исследовании памяти, вскрыв, что внутри самой памяти надо различать две формы — память мозга и память духа, из которых одна требует объяснительной психологии, а другая требует принципиально другого подхода.

Еще одно положение, которое я позволю себе сформулировать, заключается в следующем. Как известно, в математических науках, в частности в геометрии, последним основным доказательством является указание на логическую необходимость, т. е. усмотрение логической необходимости того вывода, того положения, к которому мы пришли. В чем, спрашивается, заключается такая логическая необходимость того непосредственного усмотрения, которое мы находим при рассмотрении переживаний? Ведь в переживаниях, как это прекрасно известно и как это было показано Бергсоном и представителями его школы, дело обстоит не совсем так, как в математической теореме. Переживания никогда не связываются друг с другом по законам логики, никогда не текут в форме силлогизмов. В переживаниях все смутно, все меняется; часто мы сами затрудняемся отдать отчет, какие переживания происходят в данную часть минуты, часто не можем уловить важнейшего, часто не можем остановиться на самом переживании в самый момент его протекания. Самый факт, что мы направили свое внимание на это переживание, уже изменил его. Наконец, каждый знает из переживаний, относящихся к действительности, столько иллюзий, столько ошибок, столько искажений, столько неправильностей, неясностей, неточностей, что становится непонятно, как могла вообще возникнуть эта аналогия между интуицией переживаний и между той логической интуицией, которая лежит в основе матема-

тического доказательства. Надо сказать, что в ряде современных направлений этот вопрос и является одним из основных вопросов. Для того чтобы подготовить почву к его рассмотрению, я хотел бы сказать, как он получает свое разрешение в ряде направлений немецкой психологии, связанных с именем Гуссерля и его идеями.

Прежде всего, для этих психологов неясность, смутность, недостоверность самого переживания не имеет ничего общего с тем идеальным объектом, который рисуется за этим переживанием. Я могу начертить на бумаге плоским карандашом зигзагообразный треугольник, у которого углы будут выглядеть дугами, где прямая будет не прямая, а ломаная. Тем не менее, если я правильно рассматриваю данный чертеж как представителя идеального объекта, который я изучаю, от неясности выполнения моего чертежа дело не изменится. Следовательно, фактическая основа переживания может быть смутной и неясной, сила заключается не в ней и не в фактическом переживании, а в той интуиции, которая позволяет в этом смутном переживании выделить идеальные черты, т. е. отнестись к идеальному переживанию, как мы относимся к математическому чертежу, как к представителю идеального объекта.

Вторым соображением, которое выдвигается здесь, является основное положение Гуссерля, примененное в ряде психологических исследований, с ним связанных, и гласящее, что, в то время как в окружающей объективной действительности мы должны делать различие между явлением и бытием, т. е. понимать, что каждое явление не существует в том виде, в каком мы его воспринимаем, в непосредственном опыте, в сознании нет разницы между явлением и бытием. То, что нам дано в сознании, и то, что реально существует, совпадает здесь друг с другом. Я легче всего мог бы объяснить это, противопоставивши такую позицию исторически более ранним формулировкам, которые мы находим в других философских направлениях, в частности у Фейербаха. Когда Фейербах говорит, что разница между мышлением и бытием не снята в самом мышлении, то, мне думается, он выражает формулу мышления, антитетическую, противоположную той, которая лежит в основе интуитивной психологии.

Было бы, однако, неправильно представлять себе, что все представители современной психологии являются сто-

ронниками наличия двух психологий, хотят размежевать разные подходы к психической жизни и настаивают на том, что оба эти подхода должны лечь в основу отдельных самостоятельных наук. Правда, на последнем немецком конгрессе по экспериментальной психологии раздавались голоса за то, что в университетах должны быть две разные кафедры психологии, в зависимости от того, кто из представителей психологии призван осуществлять преподавание и исследования в психологической области. Указывалось также на то, что противоположность точек зрения часто достигает таких размеров, что возникает необходимость в рациональном размежевании этих подходов.

Однако наряду с этим существуют направления в психологии, и к числу их принадлежит ряд наиболее передовых направлений, пытающихся преодолеть тот дуализм, который другие современные психологические направления возводят в догмат. Некоторые психологические направления отрицают необходимость для психологии раздвоиться, превратиться в две отдельные самостоятельные науки.

И здесь мы имеем дело с разными попытками осуществить единство психологии, т. е. сохранить старый лозунг о построении единой психологии, связать описательную и объяснительную психологии. Часть из этих направлений и авторов говорит, что действительно существуют две психологии, но нельзя говорить, что одна из них описательная, а другая объяснительная, индуктивная или аналитическая. Просто одна из них истинная, а другая ложная, причем в зависимости от того, на какой точке зрения стоит представитель данного направления, он объявляет истинной или ложной одну из этих двух психологий. Некоторые из них говорят, что только объяснительная психология имеет право на существование и вообще вычеркивают описательную психологию из анализа человеческого поведения, отрицают самый факт наличия внутренних целей и внутренней осмысленности поведения, отрицают целый ряд моментов, характеризующих сознательность, и объявляют самое сознание продуктом метафизического мышления, продуктом скорее воображения, чем научного познания. Это крайняя точка зрения. Но существует и другая, менее радикальная и потому менее абстрактная точка зрения,

которая тоже склонна защищать ту мысль, что из альтернативы двух психологий выбор должен быть сделан в пользу одной психологии, естественнонаучной, объяснительной психологии, которая является истинной психологией, потому что она является системой научного знания, а то, что преподносится некоторыми авторами в качестве описательной или аналитической психологии, — это должно составить область метафизики, но не научно-го знания в собственном смысле слова.

Наряду с этим имеются и идеалистические направления в психологии, которые говорят, что существуют не две психологии, а одна истинная психология, но что эта истинная психология есть наука о духе, а все попытки внести естественнонаучное, каузальное объяснение в психологию являются попытками свести психологию с ее истинного пути на ложный и что такие попытки не относятся к психологии в собственном смысле слова.

Эти наиболее ясные выражения механистического и идеалистического течений в психологии представляются наиболее однородными и простыми в своей структуре, но, в сущности говоря, они не представляют собой чего-либо отличного от тех направлений, которые возникают внутри двух психологий, ибо и там наблюдается известное сосуществование механистической и идеалистической систем. Разница заключается только в том, что там существуют попытки объединения, некоторые заимствования из других систем, существует взаимная терпимость, взаимное признание права другой науки на существование. Здесь это заменяется отрицанием, игнорированием одной стороны науки другой ее стороной. Но тем не менее нового ни в методическом, ни в фактическом отношении мы в этих системах не находим.

Другое положение: в тех направлениях, которые, осознав ложность идеи двух психологий, поставили своей задачей преодолеть эту идею и создать единую психологию. К таким направлениям нужно отнести систему структурной психологии, которая первая пошла по этому пути, психологию Бюлера, выпустившего труд о кризисе в психологии; сюда можно отнести и автора персоналистической психологии — Штерна. Можно было бы назвать и других, но так как я даю лишь схематический анализ общих моментов в отдельных направлениях психологии, то не буду останавливаться подробно на каждом из этих на-

правлений, а выбираю типичное, что есть в этих направлениях. Все они понимают, что кризис современной психологии, приведший к понятию о двух психологиях, в сущности говоря, есть кризис ее методологических основ и является выражением того факта, что психология как наука в своем фактическом продвижении вперед в свете требований, предъявляемых ей практикой, переросла возможности, допускаясь теми методологическими основаниями, на которых начинала строиться психология в конце XVIII и начале XIX в. Эти психологи понимают, что конкретно методологический кризис современной психологии упирается в теории механицизма и витализма, в которые упирается современная идеология и современное научное мировоззрение вообще. Поэтому первым лозунгом этих течений был лозунг: против механицизма и витализма. Именно под этим знаменем достигала первые победы на своем пути современная структурная психология. Она постаралась доказать, что те объяснения, которые предлагаются механистической и виталистической психологией, не выдерживают фактической проверки. Поэтому первые работы Вертгаймера, Кёлера, Коффки были направлены на то, чтобы наметить новую линию исследования, которая стояла бы над механицизмом и витализмом. Между прочим, этой теме был посвящен доклад Коффки, недавно бывшего в Москве, доклад, в котором особенно ярко отразились все слабые стороны этой попытки. Я не стану излагать этого доклада в целом, сошлюсь на наиболее ясно вспоминающуюся часть этого доклада, чтобы наметить моменты, определяющие всю структурную психологию в ее попытках преодоления механицизма и витализма. Своеобразие этой попытки заключается в нескольких моментах.

Прежде всего, оно заключается в самом понимании механицизма. Механицизм в этой психологии понимается как противоположность витализму, как стремление объяснить все явления, доступные нашему опыту, не прибегая к помощи потусторонних, сверхприродных и внеприродных факторов и сил, т. е. как попытка остаться в пределах точного научного знания и выбросить всякую метафизику, все постороннее, ненаучное. В этом отношении структурные психологи целиком солидаризируются с механицистами. Но, с их точки зрения, механицисты являются недостаточно последовательными. То, что они

пытаются объяснить все, исходя из законов механики, физики, — в этом они правы, но только самое физику они понимают недостаточно точно. Сами их представления о физической действительности ложны. Ложность их понимания Коффка пытался пояснить следующей формулой: механицисты представляют себе природу как совокупность машин и отсюда выводят ее закономерности, но они ошибаются, потому что машины представляют собой только частный случай, своеобразный тип искусственно построенной физической системы, который вне области этих искусственных построений, созданных руками человека, вообще нигде не существует. В природе на самом деле существуют физические системы, т. е. такие структурные целостные образования, которые определяют роль и значение каждой отдельной части, входящей в состав этой физической системы. В природе существуют «гештальты», т. е. целостные образования, а не машины, которые складываются из отдельных частей и которые раз навсегда определяют состав своих частей. Разница между взглядами на природу как на систему и как на машину заключается в том, что деятельность машин определяется твердой связью частей, а в системе, наоборот, деятельность отдельных частей определяется законом построения системы в целом.

Доказательству этой мысли было посвящено специальное исследование Кёлера «*Physische Gestalten*», включающее исследование целого ряда явлений из области электричества, в частности явлений, по аналогии с которыми строятся биомеханические и биохимические предположения относительно структуры и течения нервного возбуждения в мозгу, т. е. явления, которое обычно приводится в качестве наиболее близкой аналогии, чтобы объяснить характер возбуждения на сетчатке нашего глаза и дальнейшие законы протекания этого возбуждения. Кёлер старался показать, что в природе существует эта целостность и что только эта целостность одна и существует, что машин в природе не бывает. Таким образом, спор с механицистами переносится в область физики и делается вывод, что если бы механицисты были последовательны и если бы они адекватно представляли себе физику, то в остальном они были бы правы.

Однако имеются другие моменты, которые существенно связаны с механицизмом. Эти моменты остаются абсо-



лютно чуждыми той борьбе, которую структурная психология ведет с механицизмом.

Сведёние поведения человека к работе живой машины — это механицизм, говорит гештальт-психология, но сведёние поведения человека к поведению обезьяны — это не механицизм, потому что мы здесь имеем организмы, близко стоящие друг к другу.

Следовательно, механицизм понимается здесь исключительно в буквальном, если можно так выразиться, смысле этого слова, как сведение поведения и деятельности человека к законам деятельности машины. Только это и есть тот механицизм, против которого возражают гештальт-психологи. Сведение поведения взрослого человека к поведению ребенка, мышления человека к мышлению обезьян, сведение поведения обезьян к поведению наиболее близкостоящих животных, сведение мышления к жизненным процессам простого порядка и сведение этих процессов к процессам электрическим не является, с точки зрения представителей гештальт-психологии, незаконным. Отсюда тот физикализм, в котором упрекают это направление в психологии: он является концепцией, согласно которой, если в мире физической природы, электрических структур удастся открыть основную закономерность, характеризующую и психологическую структуру, то тем самым будет переброшен мост от физического к психологическому, который позволит построить монистическую теорию, охватывающую все, начиная от физико-химического и кончая феноменологическим планом. Представители этой теории думают, что таким путем удастся построить монистическую психологию и создать единый динамический закон, который будет годным для всех явлений. В частности, Вертгаймер и Коффка пытаются доказать, что как только мы подходим к психическому процессу, к его формальной характеристике, например к его динамике, так сейчас же мы высказываем структурные суждения, которые одинаково приложимы к электрическому процессу, лежащему в основе нервного возбуждения, и к самому возбуждению. Таким образом, началом всего является структура, такой закон, который одинаково годен для заполнения любым материалом. В учении Кёлера это находит свое яркое выражение. Нередко говорят, указывает он, что, если бы даже мы могли проникнуть в головной мозг в качестве объектив-

ного наблюдателя и с полной и исчерпывающей точностью изучить все происходящее в мозгу, когда человек мыслит, мы отсюда не узнали бы ничего существенного для хода человеческих переживаний, связанных с этими процессами. Однако, говорит он, я нахожу это неправильным. Если бы удалось раскрыть в принципе структурные законы, руководящие этими процессами, то структурные законы, находимые в мозговой деятельности и в анализе переживаний, оказались бы одни и те же.

Еще более ясно выражает эту мысль Кёлер в работе «Человеческое восприятие». Он прямо говорит, что структурная точка зрения обязывает нас допустить, что психологические процессы представляют единое целостное образование не только внутри себя, но они представляют собой единую структуру с тем физико-химическим процессом, который лежит в их основе, и, что самое важное, это единство основывается на тождественности структуры, т. е. идентичности законов строения.

Поэтому не удивительно, что вся современная структурная психология, в том числе и психология Коффки, строится на теории равновесия. Типичным для всякого движения, для всякого изменения физической структуры является то, что она из покоящегося состояния через нарушение равновесия переходит в новое покоящееся состояние. Исходя из этого положения, и психическая структура рассматривается прежде всего как нечто находящееся в равновесии.

Вертгаймер опубликовал недавно свою новую работу, которая называется «Этюды по металогики» (он имеет в виду логику отдельных наук), где говорит следующее: закон четкости, или прегнантности, структуры, один из основных законов структурной психологии, в сущности, является только психологической формулировкой общего закона равновесия. Что это значит? Закон этот заключается в том, что наши психические процессы имеют тенденцию протекать как законченные, прегнантные структурные явления и все смутное, нечеткое означает собой процесс движения в этой четкой структуре. Но, в сущности говоря, это правило является общим выражением закона равновесия, ибо, когда мы имеем дело со структурным, прегнантным процессом, мы не имеем никакого движения, но как только эта структура затруднена, как только у нас происходит какое-либо изменение в этой

структуре, скажем, по отношению к глазу, как только происходит изменение освещения, так мы сейчас же будем иметь дело с другой структурой, т. е. мы имеем дело с заменой одной структуры другой. В этих случаях одна структура сменяет другую, происходит аккомодация или приспособление к изменившимся условиям, к свету и т. д.

Я не стану останавливаться на других моментах, которые показывают, что, борясь с механицизмом, структурная психология борется только с одной из возможных форм механицизма и пытается ее преодолеть не тем, чтобы показать ложность самой идеи механицизма, а тем, чтобы заменить одну устаревшую механистическую идею другой, более современной.

Так же обстоит дело и в борьбе с витализмом. Стремясь преодолеть витализм, структурная психология и все теории, о которых я говорил, в сущности, восходят к витализму так же, как и к механицизму.

Они говорят, что виталисты в объяснении целого ряда проблем, в частности сложных проблем жизни, проблем психологии, прибегают к неприродным или к сверхприродным факторам. Но это они делают потому, что разделяют вместе с механицистами неправильный взгляд на природу. Они думают, что в природе господствуют только закономерности, присущие машинам, а между тем то, что они приписывают жизненному порыву, психологическим витальным силам и т. д.—вся эта организованность, упорядоченность присуща и физической природе, причем присуща ей на самых начальных ступенях ее развития.

Если мы проследим, как складываются современные представления гештальт-психологии о структуре и как они пользуются ими в борьбе с витализмом, мы увидим, что спор здесь опять идет о том, чем являются законы природы. Гештальт-психология считает, что витализм разделяет основное воззрение на природу, присущее механицизму. Виталисты тоже склонны рассматривать природу как совокупность машин, которые характеризуются механической связью отдельных частей и в которых нет ничего такого, что было бы аналогично целостному образованию. В отличие от этого структурная психология утверждает, что уже мертвой природе присущи функции структурного образования. Структура существует и в мертвой природе. Иначе говоря, структура является из-

начальной, извечной, существующей с того времени, как мир начал существовать (если он вообще начинал существовать), и продолжающейся до того момента, когда он перестанет существовать (если он действительно перестанет существовать); структура является извечным моментом, характеризующим все сущее. Иначе говоря, самому бытию во всех его формах, от самой начальной до последней, приписывается то, что виталисты привлекли извне для объяснения высшей формы бытия. Речь идет скорее о легализации, если можно так выразиться, этого момента, но не о самом принципе виталистического объяснения в целом.

Я должен сделать оговорку. Было бы неправильно понимать дело так, что, внося известный метафизический привкус в учение о структуре, придавая учению о структуре характер изначального, извечного, устойчивого равновесия, закона, по которому построена каждая форма, гештальт-психологи тем самым действительно ничего не дали в борьбе с виталистами. Нет. Если взять конкретные работы структурной психологии, в частности изучение мышления обезьян у Кёлера, исследование детской психологии у Коффки, можно увидеть, что они создали учение о мышлении и восприятии, основанное на большом количестве конкретных фактов. Но если мы возьмем вещи в историческом плане и попытаемся вскрыть последние основания, теории, если мы очертим весь круг исторических возможностей теории, а не то, что сделано на протяжении 10—20 лет, тогда мы должны будем указать, что сторонники гештальт-психологии с точки зрения исторического пути науки не способны преодолеть механицизм и витализм по-настоящему.

Я закончу только замечанием о том, что последние два года мы присутствуем при рождении очень любопытного нового течения в психологии, которое в значительной части пользуется некоторыми неудачами структурной психологии, связанными с ее раздвоением на старую и новую структурную психологию, и которое интересно уже потому, что оно пытается создать некоторый синтез патологической, клинической психологии, разработанной в клинике, с психологией лабораторной, разработанной в психологических институтах и университетах.

Свою программу это новое направление получило в последней работе Блейлера, которая носит выразитель-

ное название «Механицизм, витализм и мнемизм». Здесь снова делается попытка создания единой психологии, снова делается попытка выхода из методологического кризиса, из тупика, но на этот раз с помощью идей мнемизма, которые всегда составляли основу учения Блейлера. Блейлер всегда исходил из той идеи, что основное значение для сознания имеет память, что без памяти вообще никакое сознание невозможно и что сознание есть не что иное, как развитая память. С другой стороны, хорошо известны старые, сейчас воскресшие, хотя совершенно перекроенные и видоизмененные идеи немецкого исследователя Семона, который, как известно, развивал идею мнемы, т. е. способности живой и мертвой материи иметь нечто аналогичное нашей памяти, удерживать известные следы. Мне достаточно напомнить вам известную аналогию, согласно которой процессы запоминания сравниваются с колеями на дороге, которую прокладывает проехавшее колесо и которая является следом имевшего место воздействия.

Достаточно указать на сравнение акта запоминания или образования привычки с листом бумаги, который мы складываем так, что на месте сгиба остается след, predisposing к дальнейшим сгибам в этом месте. Все эти аналогии являлись отправными точками в построении более широкого масштаба, в поисках той системы, которая от мертвой природы через живую природу ведет к развитию элементарных, а затем и высших форм сознания, к представлению о единстве личности и о тождестве нашего «я».

В упомянутой работе Блейлер пытается показать, что особое начало — «психоид» — является соединительным звеном между памятью, как она представлена в мертвой материи и как она представлена в нашем сознании. Психоид для него — это особое ощущение, психообразный фактор, напоминающий нечто вроде органической души, некоей энтелехии, из которой должна быть выведена жизнь в самом живом организме. Понятно, к какому тупику приводит и эта последняя попытка выйти из противоречий механицизма и витализма.

Беря все эти направления в их исторических границах, во всем том, что они были призваны сделать и что могли завершить, оставаясь сами собой, я хотел указать на их внутреннюю ограниченность и невозможность выйти за

пределы кризиса, преодоление которого все эти направления ставят своей задачей. Очевидно, круг этого кризиса очерчен таким образом, что он вытекает из самой природы того методологического основания, на котором развивается психология на Западе; поэтому внутри себя он не имеет разрешения. Даже те попытки, которые исходят из идеи разрешения кризиса и преодоления тех тупиков, к которым он привел, на самом деле не преодолевают тех трудностей, к которым привели психологию механицизм и витализм. И если бы им представилась возможность в течение 10 лет вести разумное исследование, то через 10 лет оно снова привело бы в тупик уже на более высоком фактическом основании, под другим названием, тупик, который будет переживаться неизмеримо трагичнее и острее, поскольку он будет иметь место на более высокой ступени науки, где все столкновения и противоречия оказываются более острыми и неразрешимыми.

В заключение я хотел бы сказать, что если бы мы хотели охарактеризовать то самое новое, «самоновейшее», модное, что выявляется в ряде психологических направлений и является, по образному выражению одного из исследователей, скорее методологическим настроением, чем оформившейся идеей, то мы увидели бы, что этим новейшим является именно представление о том, что преодоление механицизма, преодоление кризиса объяснительной и описательной психологии и построение единой психологии на почве старых психологических допущений невозможно. Самый фундамент психологии должен быть перестроен.

# П Р И М Е Ч А Н И Я

## ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

Эта работа была написана Л. С. Выготским в 1930—1931 гг. как общетеоретическая часть большого (оставшегося ненаписанным) исследования. В этой части автор останавливается на наиболее важных для него теоретических положениях о социальном происхождении и опосредствованной структуре высших психических функций, а также рассматривает основные принципиальные пути их исследования, выдвигая мысль об анализе на «единицы», сохраняющие все черты, специфические для высших психических функций, и противопоставляя этот метод анализу на «элементы», при котором эта специфичность теряется и который в конечном итоге приводит лишь к выделению наиболее общих, неспецифических для психологии человека закономерностей.

Противопоставляя во многих местах «культурное» и «натуральное» развитие психических процессов, автор понимает первое как возникающее в процессе общественно-исторического развития, под влиянием усвоения общечеловеческого опыта, которое и приводит к формированию высших психических функций. Поэтому выражения «культурная» и «высшая психическая» функции во многих отношениях являются синонимами.

Противопоставление «культурного» и «естественного» развития психических процессов не раз встречало критику и не принималось многими советскими психологами; справедливо указывалось, что такое противопоставление является слишком схематичным и что в понятии культурного развития еще не раскрывается вся конкретная сущность общественно-исторических влияний, под воздействием которых развиваются психические процессы. Однако при всем этом введение указанных понятий Л. С. Выготским было первой попыткой подойти к анализу высших психических процессов как результату общественно-исторического развития.

В дальнейших (в ненаписанных) главах труда Л. С. Выготский предполагал дать анализ развития отдельных высших психических функций (восприятия, внимания, памяти, мышления и т. д.). Данная работа печатается по рукописи и публикуется впервые. В авторском экземпляре книга посвящена сотруднику и другу Л. С. Выготского — Леониду Соломоновичу Сахарову.

## ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД В ПСИХОЛОГИИ

Печатаемый материал представляет собой тезисы доклада, который был прочитан Л. С. Выготским в Академии коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской в 1930 г. Отражает относительно более ранний период работы Л. С. Выготского. Этот доклад пред-

ставляет наиболее ясное изложение того принципа исследования опосредствованных функций, которые являются характерными для психологии человека. Основная черта этих функций — применение «инструментов» и «средств», направленных на организацию человеческой деятельности, позволили Л. С. Выготскому назвать адекватный метод исследования «инструментальным методом» в психологии.

Тезисы печатаются впервые.

## ЛЕКЦИИ ПО ПСИХОЛОГИИ

Печатаемые лекции представляют собой обработанные стенограммы курса по психологии, которые Л. С. Выготский читал в Ленинградском педагогическом институте им. А. И. Герцена в 1932 г.

Все лекции (кроме лекции об эмоциях, опубликованной в журнале «Вопросы психологии») печатаются впервые.

## ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ И РАСПАДА ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

Этот доклад, являющийся последним докладом Л. С. Выготского, был сделан им за полтора месяца до смерти. Он был прочитан 28 апреля 1934 г. на конференции Всесоюзного института экспериментальной медицины и должен был быть программным докладом для работ того психологического института, который предполагалось создать под руководством Л. С. Выготского.

Именно поэтому, высказывая ряд мыслей, уже сформулированных автором в прежних докладах, он одновременно подробно останавливается на ряде положений, принятых в то время в неврологической клинике. Л. С. Выготский дает их практический анализ и формулирует те позиции, с которых он предполагал вести работу, посвященную изучению основных функций мозга человека.

Доклад печатается впервые.

## ПСИХОЛОГИЯ И УЧЕНИЕ О ЛОКАЛИЗАЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ

Печатаемый материал представляет собой развернутые тезисы доклада, который Л. С. Выготский представил на 1-й Украинский съезд по психоневрологии летом 1934 г. Смерть помешала ему сделать этот доклад, и эти тезисы были напечатаны в сборнике тезисов съезда уже посмертно.

## ПОВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА

Эта работа была написана в 1929—1930 гг. по заказу издательства «Работник просвещения» как популярная брошюра, освещающая основные вопросы психологии человека и животных. В ней автор пытается в доступной форме указать на общее и различное в психических процессах животных и человека и защитить мысль, что при переходе к общественно-историческим формам существования возникают такие формы эволюции, при которых развитие психических процессов, опирающихся на употребление орудий и речи, мо-



жет протекать и без образования новых, лежащих в ее основе морфологических мозговых структур, но путем образования новых функциональных систем, которые позволяют тому же мозгу осуществлять совсем новые формы деятельности.

Книга не была в свое время напечатана, печатается впервые.

## **СОВРЕМЕННЫЕ ТЕЧЕНИЯ В ПСИХОЛОГИИ**

Доклад «Современные течения в психологии» был прочитан 26 июня 1932 г. в Коммунистической академии. Он отражает тот цикл теоретических исследований автора, которые были несколько ранее оформлены им в специальной работе «Исторический смысл психологического кризиса» (1927 г., осталась ненапечатанной). Основой для этого доклада, как и для указанной ненапечатанной работы, является анализ того положения, создавшегося в зарубежной психологии к началу этого века, когда психология фактически раскололась на две науки: физиологическую — «объяснительную» и духовную — «описательную». Имея все преимущества объяснения психических процессов, первая оказалась, однако, не в состоянии подойти к анализу высших, специфических для человека форм психической жизни, в то время как вторая, занимаясь именно этими наиболее важными формами сознательной жизни и трактуя их идеалистически, фактически отказывалась от какого бы то ни было их объяснения. Выход из такого кризиса Л. С. Выготский видел в создании материалистической психологии как науки о высших, специфических для человека психических функций, которые являются результатом общественно-исторического развития и объяснение которых остается вполне доступным, хотя и должно быть результатом исследований, ведущихся на совсем новых путях.

Доклад печатается впервые.

## СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие . . . . .	3
-----------------------	---

### История развития высших психических функций

Глава I. Проблема развития высших психических функций . . . . .	13
Глава II. Метод исследования . . . . .	60
Глава III. Анализ высших психических функций . . . . .	126
Глава IV. Структура высших психических функций . . . . .	157
Глава V. Генезис высших психических функций . . . . .	182
Инструментальный метод в психологии . . . . .	224

### Лекции по психологии

Лекция 1. Восприятие и его развитие в детском возрасте . . . . .	235
Лекция 2. Память и ее развитие в детском возрасте . . . . .	258
Лекция 3. Мышление и его развитие в детском возрасте . . . . .	275
Лекция 4. Эмоции и их развитие в детском возрасте . . . . .	301
Лекция 5. Воображение и его развитие в детском возрасте . . . . .	327
Лекция 6. Воля и ее развитие в детском возрасте . . . . .	350
Проблема развития и распада высших психических функций . . . . .	364
Психология и учение о локализации психических функций . . . . .	384

### Поведение животных и человека

Эволюция и поведение животных и человека . . . . .	397
Есть ли у животных психика? . . . . .	403
Эволюция психики и разумное поведение . . . . .	406
Есть ли у животных разум и речь? . . . . .	416
Общая схема развития поведения животных . . . . .	429
Поведение животного и человека . . . . .	439
Может ли наследование приобретенных признаков служить основой исторического развития поведения . . . . .	442
Историческое развитие поведения человека . . . . .	446
Развитие и распад высших исторически сложившихся способов поведения . . . . .	453
Закключение . . . . .	454
Современные течения в психологии . . . . .	458
Примечания . . . . .	482
Именной указатель . . . . .	485
Предметный указатель . . . . .	488